

4

ДНЕВНИК В ЧЕТЫРЕХ ГЛАВАХ

ПОРТРЕТ ИЛИ ИКОНА?

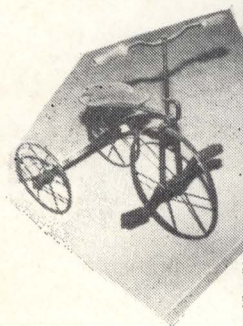
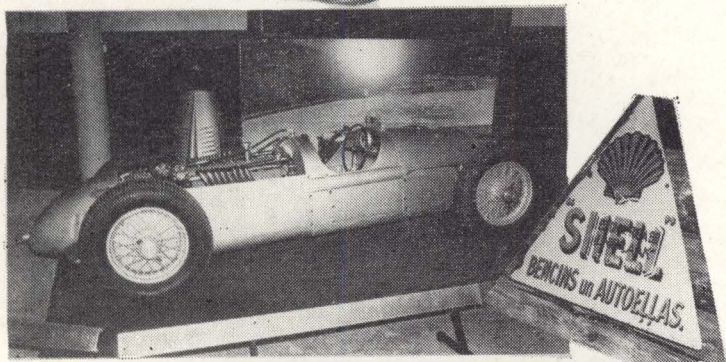
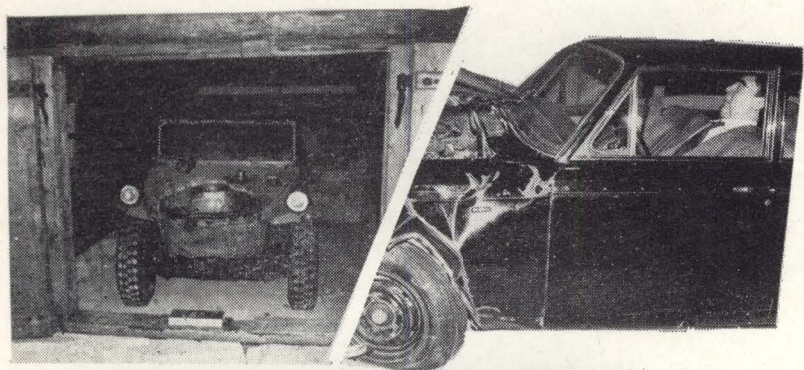
В КРУГЕ ПОСЛЕДНЕМ

РСДРП... ВКП(б)... КПСС... ЧТО ДАЛЬШЕ!

90

# Даугава





Рижский автомузей.  
Такое разнообразие экспонатов —  
глаза разбегаются...  
[Материал см. на стр. 31]  
Фото Атиса Иевиньша

# Даугава

АПРЕЛЬ (154)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.  
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

## В НОМЕРЕ

Проза и поэзия

- 3 *Имантс Зиедонис*  
**Стихотворения**
- 8 *Аншлавс Эглитис*  
**Охотники за невестами.** Роман. Продолжение
- 41 *Дмитрий Леонтьев*  
**Дневник в четырех главах.** Предисловие О. Леонтьевой
- 64 *Калика Перехожий*  
**Удильщик на Двине.** Продолжение
- 71 *Владимир Френкель:*  
**Предисловие не к стихам**  
**Встреча.** Стихи  
**В кругу последнем**  
Варлам Шаламов и Александр Солженицын

Публицистика

- 83 *Владимир Шумилов*  
**Портрет или икона!**
- 89 *Борис Равдин*  
**Страница болезни**
- 97 *Даниил Житомирский*  
**Шостакович официальный и подлинный**  
Воспоминания, материалы, наблюдения

1990



(см. на обороте)

**В Н О М Е Р Е** (окончание):

Обзоры, размышления, рецензии

**109** *Андрей Левкин*  
**«Мы» в Латвии**

Memoria

**115** *Юрий Абызов*  
**Певец двух провинций**  
*Андрей Задонский*

**117** **I. Автор «Поединка»**

К нашим иллюстрациям

**31** *Эдгарс Скулте*  
**«Серебряная тень» для Генсека**

**120** Почта «Даугавы»

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются**

---

Главный редактор  
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ, Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Адольф ШАПИРО.

Редакция:

зам. главного редактора Андрис ЯКУБАН (член редколлегии), и. о. ответственного секретаря Борис ПОПОВ, зав. отделом прозы Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отделом поэзии Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (член редколлегии), зав. отделом публицистики Илан ПОЛОЦК, зав. отделом критики Вадим РУДНЕВ, зав. отделом писем Михаил АФРЕМОВИЧ, редактор-стилист Леонид ГУРЕВИЧ, спецкорреспондент Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ.

---





**Имантс ЗИЕДОНИС** (род. в 1933 г.) — латышский поэт, прозаик, публицист, народный поэт Латвии, лауреат Государственной премии Латвийской ССР, председатель Латвийского фонда культуры. Среди книг И. Зиедониса, вышедших в переводе на русский язык: «Смола и янтарь» [1965], «Лабиринты» [1968], «Дневник поэта» [1968], «Избранное» [1969], «Курземите» [1976], «Эпифании» [1977], «Мой камень не спит» [1978], «Поэма о молоке» [1983], «Избранное» [1983], «Все-таки» [1986], «Поэма о молоке. Поэма о хлебе» [1987], «Сказки» [1987], «Не считай шаги, путник» [1989].

Произведения И. Зиедониса переводились на многие языки народов СССР и зарубежных стран.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевел Владимир ЕРЕМЕНКО

\* \* \*

Вновь слова требует ночь, зовет:  
«Вон янов червячок<sup>1</sup>, вот!  
Посмотри, как она растет,  
Посмотри,  
Черная роса во тьме до зари.  
Лето растет.

Матерь ночь,  
Ночи черная мать,  
Во мраке черно-зеленая рута свято  
Набухает (как багровой дурью — косач!)  
Медленно набухает, брюхата.

Дева ночи<sup>2</sup>  
Спит, пока лежит мгла.  
Спит, непорочная, как была,  
Спит,  
Словно не вставала и не ткала,  
Не запятнанная  
Прикосновеньями дня.

Чиста ночь . . .  
Чисты ее сыновья:  
Ни за одним греха пути нет,  
Все в начале каждого.  
И между них — я,  
Я и это слово,  
Которое — еще свет.

<sup>1</sup> «Янов червячок» — светлячок (лат.)

<sup>2</sup> «Дочь ночи» — солнце.

\* \* \*

Звезда — сечение небесного нерва.  
Потому-то звезды звучат, наверно.

Вот и в моих нервах блуждает свет без приюта.  
А надсеки их — звездами предстанут кому-то.

Пусть свет, что люди во мне различают вроде,  
По неразумению к ним идет, идет и приходит.

Так же как нас сияющее небо в вечном ознобе  
К вере зовет, надеждой влечет и дарует обе.

\* \* \*

Ишь ты, как усталость царит —  
Хрустальная ваза!  
(Табачку нюхнул с устатку старик —  
Каждой ноздрей по разу.)

Ишь ты, как усталость царит:  
Все — из рук, и сам, как в дурмане.  
(Глянь-ка, ладонь-то горит,  
Словно фонарь в кармане!)

Ишь ты, как усталость царит.  
Дрема закликает ресницы.  
(Глянь, а мир лишь теперь раскрыт  
Весь. И слегка кружится.)

Ишь ты, как усталость гнетет,  
Веки во сне росой орошая . . .  
(Ты погляди, как идет народ  
Навстречу, о пути вопрошая!)

\* \* \*

Даже странно самому —  
Счастлив. Вправду счастлив вроде.  
Непонятно почему  
Вдруг из памяти приходят

Та сосулька босиком,  
Звонких ведер ахинея . . .  
Через поле вечером  
Будто ель бредет, синяя.

И куда она? Во тьме,  
Чуть задремлешь, свет яснее  
Замерцает в глубине,  
Удаляясь и белея . . .

То ли там, во мне растет  
Белый саженец сторожко?  
То ль мерцает переплет —  
Книги белая обложка

Без заглавия. И в ней,  
Все в ней бело без обмана!  
Первозданно, нет ясней,  
И прекрасно безымянно . . .

Даже странно самому —  
Светел. Вправду счастлив вроде.  
Сам не знаю, почему  
Свет из памяти исходит.

\* \* \*

Пустыня одежд нас погребла.  
Мы просто их не в силах обжить.  
Словно вовсе мы без тепла —  
Сердце леденит каждая нить.

Одинокие в пещерах одежд дрожат,  
Как беженцы, застигнутые зимой.  
Вцепившись в заиндевший наряд,  
Дрожит коченеющий голос мой.

Ан, недаром рос я. И давал Бог.  
Сколько в пряжу трудов и лет,  
Чтоб, окоченевший, вдруг войти к тебе смог,  
В этот леденящий наряд одет.

Лишь глаза, верные искреннему лучу,  
Тихо тлеют из бездны зим.  
Невыразимо, как я тебя хочу.  
И холод одежды невыразим.

\* \* \*

Легкие мостки к сумеркам от дневного света,  
Розы лепестки, что теплом навоза согрета,  
И первенец бабочки, полный, как ножки путти,  
И тот бабник, что найдет тебя и окрутит,

Всё — единого света чудные переливы.

И милая твоя рука, не оставляющая надежды.  
И безветрие, срывающее мои одежды.  
И вскипание камня на постаменте — диво! —  
Всё того же света странные переливы.

Трауром радость выплачется из тела.  
Вот и солнце еще, увы, не прозрело.  
А о воздаянии, о муке картинной  
Не знаю. Различаю лишь свет единый.

И, верно, звезды — ни то, ни это, ни третье —  
Всё переходы света и многоцветья.

К солнцу наверх пузырек ползет, погружаясь.  
Мать бедная угасает, рождаясь.  
А постигнет это и сохранит от мысли лукавой  
Тот, у коего две руки — ни левой, ни правой.



## ДВЕ СЕСТРИЧКИ

В девять спрашиваю ее со смешком:  
«Что ты бродишь по росе босиком?»  
«Ах, сестрица, — отвечает, — сердце мое,  
В десять уже не будет ее».

\* \* \*

Связь нор  
Трех или трехсот —  
Сближение.  
Единение трех тысяч нор —  
Солидарность.  
Мы выроем ад —  
Три миллиона нор,  
Три миллиона, которые не боятся  
тьмы

\* \* \*

На горé несолнца  
В ночи безлунной  
голову урони!

Во тьме бескрайней  
В ночи беззвездной  
голову урони!

Голову урони  
Отложи стволы  
Ветку ели в знак скорби  
К земле пригни:  
так не победить тьму.

Голову урони  
Преклони колено  
И жди во тьме  
пока не привыкнешь, жди.  
Жди и увидишь:  
правом борца  
обладает тот, кто видит во тьме.

\* \* \*

Именно это и мучит нас сейчас,  
Вопрос без ответа:  
Я люблю Вас. Просто я люблю Вас  
Без причины. Да возможно ли это?  
Без причины? Да может ли это быть?  
Без начала?  
Надо так; чтобы росло, чтобы исчезало.  
И начиналось все с облюбванного,  
найденного,

С чего-то увиденного, или даденного,  
С даденного днем или ночью:  
Запаха, или виденья воочью,  
Чтобы было что хранить и ласкать!

Я люблю Вас так, как древний пращуров сказ  
Повествует, где утрачены конец и начало —  
Голос только. Человека словно и не бывало.

Или как вчера в море: вдруг темнеет  
                                                          неудержимо,  
Как-то сразу. И это непостижимо.  
Так и любовь, для которой причины нет:  
Только море, море — ни земли, ни планет.

### ТРАГЕДИЯ И ТИХИЙ СВЕТ

Пьеса есть — пока не достается.  
А досталось — все: золы щепоть.

Взял свинью и тотчас же найдется,  
Кто к зиме придет ее колоть.

С детства се — трагическая пьеса,  
Слух замкнешь, а слез не побороть:  
Осень золотая краем леса  
С тесаком идет свиней колоть.

Средь искусств трагедия — царица.  
Прочие — неровня, ропщут хоть.  
Что из действ с заклинанием сравнится:  
Визг! . . . И детям слез не побороть.

В тело Антигоны смерть вопьется.  
Брата брат сразит — родную плоть!  
Пьеса есть — пока не достается.  
А досталось — все. Золы щепоть.

Пусть столпы трагедии весомы,  
Но ведь есть же что-то и над ней?  
Только ль жар пылающей соломы  
Повергает в трепет нас, свиней?

Ложь, мученье, страх, что не спасется . . .  
Разве боль есть планка высоты?

Тихий свет на лбу моем пасется.  
Тихий свет, куда стремишься ты?

Как мне, тихий, выразить словами  
Волю сокровенную твою?  
Вновь грядут подпившие с ножами  
Кончить недобитую свинью.

Тут не в смерти дело. Пусть не светел  
Хрип в конце, но в нем финала нет.

Этот стих, что тихий свет пометил,  
Пусть и завершает тихий свет.

## ОХОТНИКИ ЗА НЕВЕСТАМИ

Роман

Перевел Леон ГВИН

9

Размахался парень.

Янис Меденис

На другой день после свадьбы Эпалт отпросился с работы, чтобы обойти рижские цветочные магазины. Какая чудесная сирень — белая, сине-фиолетовая, персидская розовая, однако эти мелкие соцветия напоминают мозаичные осколки и слишком уныло клонятся долу — нет, цельной, жизнерадостной натуре они не соответствуют.

Лилии? стоит подумать, но — до чего затасканный символ! К тому же бледные цветы Палестины, безнадежно непорочные, с грустным запахом увядания, не подходят деятельной Николине. Напротив, китайские огненно-тигровые лилеи или желтые тюльпанные, похожие на шаловливых монахинь, не оправдывают своих возвышенных наименований; посылать юной девушке бесстыжие цветы с непристойно растопыренными лепестками более чем предосудительно.

Скорее уж белые каллы, неуклюжие, как бы неоформившиеся, имеющие один-единственный воронковидный лепесток с толстым желтым тычком. Но они, пожалуй, для дородной, цветущей, страстной женщины. Как верно подобрала себе свадебный букет резвушка Гризли: лилии были бы чересчур хрупки для нее, сирень — слишком задумчива, розы — чрезмерно нежны, а вот жирное болотное растение на мощном, налитом соком стебле — в самый раз.

Водяные, болотные . . . лотос, священный цветок китайцев, индусов, египтян, достойный великой любви, благородный и недоступный на глади прохладных вод. Но где его взять? Придется, видно, ограбить университетский ботанический сад, подкупить сторожей, отомкнуть запоры теплиц. И Эпалт вообразил себя кутающимся в черный развевающийся плащ, с надвинутой на глаза черной шляпой; перемахнув через обнесенную колючей проволокой ограду, прижимая к груди огромный лотос, он спешит к Николине, а в это время в саду слышны свистки, злые крики переполошившихся церберов, сигналы тревоги и даже выстрелы. Но простой телефонный звонок убедил Эпалта в том, что сей момент лотосы не цветут даже в ботаническом собрании.

---

Продолжение. Начало см. «Даугава», № 2 и 3.



По трезвом размышлении, легендарному лотосу присуща этакая неприятная чинность. Гораздо милее наши собственные лотосы — кувшинки, например чудо Буртнекской мызы, редкостная, единственная в своем роде розовая водяная лилия — ее нежная окраска прелестно гармонировала бы с бледным личиком Николины. Но пруд Буртнекской мызы скован льдом.

Особого толка нет, пожалуй, и в двойниках лилий — тюльпанах. Изящно белые, лимонно-желтые, бурые, алые, иссиня-фиолетовые, на прочных, крепких цветоножках, напоминающие стоящих во фрунт гренадеров в разноцветных шлемах. Они могут украсить зал торжественного заседания или званый обед, прием, но в качестве посланцев любви не годятся — из-за показной доблести и какой-то черствости. Для столь деликатной миссии нужны иные вестники, более тактичные, ласковые, душевные, или же, наоборот, ослепительно-яркие, как пламя. О, если бы повергнуть к стопам возлюбленной блистающее оранжево-красными вспышками тюльпанное дерево, богатыйский лириодендрон, для описания которого понадобилось бы, пожалуй, стило Шатобриана, — облако этих невинных королевских цветов, окутав собой горстку праха у ее ног, стало бы вернейшим доказательством покорности влюбленного судьбе и собственной страсти . . . но Эпалт тотчас осадил себя: не мечтай о несбыточном, о великолепии «Сладостной Луизианы», о громадных болотных цветах в бассейне Амазонки, пожирающих мышей и кроликов, о ядовитых диковинах жарких тропиков. У тебя только два часа на то, чтобы найти подарок здесь, в Риге, где цветочные лавки встречаются отнюдь не на каждом шагу. Павел Эпалт почитал себя сугубым реалистом и деловым человеком. Назвав его мечтателем или, упаси Бог, неисправимым романтиком, вы рисковали приобрести врага на всю жизнь.

Он упорно продолжал поиски.

В одном магазине ему попались тюльпаны попроще, бахромчатые цветки свешивались печально, как ветви плакучей ивы. Что ж, эти выродки — как редкость, как тонкий намек на блекнущую красоту — еще можно отослать Иресе Мэйор, но Николине? — никогда!

Гм. Ириса всем объявила, что ее любимые цветы — орхидеи, алчные беспутницы орхидеи, похожие скорее на моллюска или осьминога, чем на растение. Мясистые, странно зубчатые, словно обглоданные червями, они вытягивают жадные щупальца, лихо закрученные усики, машут ободранными жабрами. То они мокровато-желтые, зеленые, как плесень, буро-пятнистые, будто подгнившая печень, а то изысканно-фиолетовые или переливаются всеми оттенками ржавчины. Лепестки иногда твердые и блестящие, словно целлофан, а подчас ослизлые, в другой раз малахольные и бледные, как кожа больного, и только чашечки светятся изнутри розовым пламенем, будто воспаленная слизистая оболочка.

Увы, Ириса, в тебе нет ровным счетом ничего от непонятого очарования орхидеи. Тайна этого порочного цветка — в противоестественном обаянии пропащей любовницы со всем ее жеманством. А ты, богачка Мэйор, бедняжка Ириса, всего-навсего устала от жизни и вянешь на глазах. Ты высокомерно блюла свою невинность и так долго ждала любви, что опустошила себя до дна и не в силах просто даже ненавидеть и презирать, где уж тебе совратить или погубить кого-нибудь. Слава Богу, Николину все эти терзания, все эти орхидеи не касаются.

Гвоздика? Красивый сладостно-томный цветок. Но с излишне страстным запахом. Красная гвоздика еще смотрелась бы в черных как

смоль волосах распутной цыганки, но не в светлых локонах, подобных цветкам липы. Липы! Болваны садовники, как это никому из них не пришло в голову выращивать скромные, нежные, с медовым ароматом цветки липы, воскрешающие в памяти очарование ушедшего лета. Как здорово было бы вручить их Николине. Цветки липы в декабре!

Поразительно! Магазины ломаются от цветов, а послать Николине нечего. С горя Эпалт обратил свой взор на цветочные горшки. Вот гиацинты выстроились в ряд, как ленивые, умашенные благовониями одалиски, вокруг них, словно ревнивый евнух, разгуливает живущий в лавке сибирский кот. Этот добродушный, тучный цветок прекрасно подошел бы Дагне. Его луковка всегда так уютно окапывается в горшке, будто это и не горшок с землей, а угол дивана, обложенный подушками . . .

Камелии? Точеные, интимные создания. Но Дама с камелиями, бедная страдальца, навеки подорвала их добрую репутацию. Камелии теперь неотделимы от чахотки. Без опасения их можно дарить разве что пожилым дамам, которые эту хворь уже не подцепят, — всяким там тетушкам и бабушкам.

Крокусы, альпийские фиалки . . . несчастные узники керамических темниц. Разве не смешно носить гордое имя «альпийская фиалка», коль ты рождена в теплице где-нибудь на рижской окраине — в Чекуркалнсе или Анныньмулже. То ли дело эдельвейс, лукавый уроженец гор, цветущий на недоступных отвесных скалах или на самом краю пропасти. Этот крошечный уникал без труда пленяет самое строптивое сердце: ведь чтобы сорвать его, надо рискнуть жизнью. Ах, счастливый швейцарский пастух, подносящий любимой разом и скромный букетик, и верное свидетельство своей безрассудной отваги и презрения к смерти. Жест куда более утонченный и благородный, чем чванливый пафос дворянина эпохи Ришелье, протягивающего даме сердца рапиру, на острие которой дрожит капелька крови соперника, заколотого в рыцарском поединке.

Что там еще в запустении цветочных лавок? Что это за яркие охапки, снопы, вороха на самых видных местах? Розы, классические розы! «И наутро она получила громадный букет огненно-красных роз . . .» — пишут едва ли не в каждом втором романе, и, как знать, может в комнате Николины уже красуется пылающий веер, чье-нибудь льстивое подношение. Неужели и он, Эпалт, будет вынужден покориться шаблону? Чем же он лучше блюстителей косных традиций — кубезельцев? Проклятые розы!! Никакого разнообразия, никакого выбора! Белые за исключением конфирмации пригодно еще только на случай похорон ребенка; бледно-фиолетовые «Офелии» несосно сентиментальны; желтым чайным розам или «Маршалу Нею» отдает предпочтении всякий профан, желающий прослыть оригиналом, — красные опадают, а черные, довольно редкие черные розы, точнее, цвета запекшейся крови, можно послать разве что изощренной в плотских утехах и немало пожившей куртизанке, но и этот сорт уже опошлен плохими поэтами и дурными поэтессами. О, где вы, где вы, легендарные розы Ширази, величиной с капустный вилок, а вы, соцветья индийских мускусных роз с бутонами, продолговатыми и заостренными, как когти, которые храмовые танцовщицы Цейлона надевают на свои пальчики, и вы, африканские плетистые розы, где же . . . и Эпалт мысленно казнил на плахе или четвертовал рижских садовников, не умеющих угодить Николине, всех подряд.

Под конец он набрел на цветы шиповника. На самом деле это был вовсе не шиповник, а бережно рощенные и чудовищно дорогие теплич-

ные неженки, неприятного багрово-фиолетового оттенка, как жабры дохлой рыбы, притом лишённые запаха и привядшие, потому что их никто не брал. Но при более пристальном взгляде в них можно было обнаружить и томность, и своеобразную красоту, что до цвета жаббер — назовем его изысканным. Была в этих неприметных и неприятельных цветах какая-то оригинальность.

Продавщица сказала Эпалту:

«Сударь, кому вы собираетесь их посылать? Это цветы для тонкого ценителя».

Сударь, чрезвычайно раздраженный и возмущенный предположением барышни, что Николина — Николина! — не сумеет воздать должное необычности и утонченности дара, в ответ молча достал из тощего кошелька сумму, равную трети своего месячного жалованья.

Присел, написал на конверте адрес Николины, который ему недавно выдала адресная контора. — Еще пару строк на визитной карточке — и все . . . но ничтожные два-три слова, которые сами собой должны стекать с пера, ведомого нежностью и обожанием, вдруг застряли в чернильнице. Как все глупо, нарочито, нелепо. Эпалт исчеркал и порвал все бывшие при нем карточки. Внезапно мелькнула мысль: а какое, собственно, он имеет право посылать ей цветы? Как Николина на это посмотрит? . . . Это уж чересчур! — там, за охапками цветов и ветвями фикуса, девчонки-служанки перешептывались и прыскали в кулачок. Стиснув зубы, Эпалт решительно швырнул на стол последнюю визитную карточку и, пыхтя от натуги, стал писать:

«Случайно проходя мимо цветочного магазина, я не смог воспротивиться искушению послать Вам эти цветы, которые превосходно дополняют розово-светлую гармонию Вашего вчерашнего платья и волос».

Боже! И это все мое остроумие, смекалка, находчивость! Вздохнув, он отдал конверт и вышел из лавки. Но дойдя до перекрестка, испустил такой жалобный стон, что прохожие недоуменно переглянулись. Что он такое накорябал? — Вчерашнее платье . . . и вчерашние волосы. Вчерашние волосы! . . . Спотыкаясь, побрел назад к магазину, однако передумал и заходить не стал. Пускай! Иначе конца этому не будет, а Николина, если захочет, и так все поймет. К черту! В этом даже есть своя выгода, маленькая неясность, неточность, которую человек, желая сделать как лучше, может допустить от волнения. Только невежа поверит любовному письму, где все точки и запятые расставлены скрупулезно, по начертаниям новейшей пунктуации. Только матерый шулер может написать такое послание — подлое, холодное, расчетливое. Огрех или изъян сообщает достоверность всему предприятию.

Но — не слишком ли это мелкая ошибка? Она ведь может остаться незамеченной. Полный смятения, Эпалт повернул было назад опять, но потом решил: все в руке Божьей, есть вещи, которые самый хитроумный человек не в состоянии растолковать и предвидеть.

Решившись, Эпалт споро зашагал дальше. Он шел куда глаза глядят и, как бывает в таких случаях, очутился возле дома, где жила Николина.

Яковлевская улица. На той стороне — площадь. Эпалт внимательно оглядел окрестности, которым в самое ближайшее время предстоит сделаться ареной его великих подвигов. На площади — насаждения, кустарник такой густой, что человек в нем может укрыться даже в зимнюю пору. Невысокие старинные дома на Яковлевской имеют множество дверей и подворотен, это тоже удобно. Николина сейчас в банке Сургенкека, на улице Тербата, прилежно трудится. В поло-



вине четвертого, минуя Верманский сад, бульвар Бривибас и Бастионную горку, она направится сюда по улице Торня. Часов в семь-восемь выйдет из дому и спустится к Национальному театру, затем по Валдемара, вдоль Стрелкового парка, дойдет до улицы, на которой стоит дом Сургениека. Запомним эти маршруты, эти пути-дорожки. Многие суждено увидеть и узнать этим примечательным улицам и площадям.

Дом № 2 расположен между отелем и бюро путешествий. Выве-дать бы, где окно Николины. В квартире номер шесть, на третьем этаже, они с матерью снимают комнату. Вот незадача, ведьмины про-иски! Эти матери только и делают, что целыми днями торчат дома и вяжут на спицах или крючком. В квартире, видимо, ничего путного его не ждет.

Эпалт пересчитал ступеньки лестницы и осмотрел входную дверь. Лестница как лестница, дверь как дверь, на дощечке:

### А в г у с т К в е с т е

Квесте — чудное имя для онемечившегося латыша, счастливица, которого жиличка Николина удостоила своим выбором! Эпалт спу-стился во двор. Узкий, грязный, обшарпанный. Во дворе дом с лестни-цей, встроеной в громоздкую угловую башню. Еще раз все как следует оглядев, Эпалт собрался уходить. В подъезде он столкнулся с девицей из цветочного магазина — узнав его, она улыбнулась да-вшнему беспокойному покупателю.

Смеется надо мной, — рассердился Эпалт и пошел на службу. Сегодня еще слишком рано предпринимать какие-то шаги, но завт-ра . . . Эпалт ни на минуту не сомневался в удаче. Дело просто обре-чено на успех. Он чувствовал прилив сил и энергии. Давние думы о богатой жене, связях, привольной жизни среди элиты теперь каза-лись жалкими, презренными и недостойными настоящего мужчины. Берегитесь вы, лоботрясы! С Николиной, во имя Николины я пройду сквозь вас, как плуг, взрыхляющий пашню, как волк, продирающийся через заросли, как паладин сквозь толпу сарацинов. Горе тому, кто попытается меня остановить, кто будет чинить мне препоны! Я вне себя, я весь исхожу бешенством, как в пляске св. Витта, и, потревожен-ные мною, вы читаете лютое неистовство в моих глазах. Прочь с до-роги! Есть ли на свете такое, что я не смог бы сейчас совершить? Чего испугался бы? Я принадлежу себе целиком, и все мои обретения будут плодом моих собственных усилий и мужества. Но только таким я и буду достоин Николины. Вперед!

\*

После обеда квартирная хозяйка впустила в комнату Эпалта ка-кого-то толстяка, довольно обтрепанного. Толстяк молча стоял в дв-ерях, вертел в руках новенький котелок — «октобер» и, усмехаясь криво и мрачно, в упор смотрел на Эпалта. Наконец того озарило:

«Мартин! Ты?» — воскликнул Эпалт, обнимая гостя за плечи.

«Узнал все-таки? Гм. Значит, я здорово изменился».

Лицо Тюрзена заплыло жиром, но при этом сохранило прежний серый оттенок небеленого холста — и скуластость тоже, только теп-ерь не кости выпирали наружу, а сальные мешки, которые, набряк-нув в самых неподходящих местах, странным образом исказили весь его облик. Особенно когда он смеялся — кожа с натугой обтягивала щечные бугры, и вместо рта обозначалась узкая прорезь, как на растя-

нutoй резиновой ленте. Жилет на нижние пуговицы не застегивался, образуя на талии треугольное окошечко, в котором проглядывала сорочка. Тюрзен был в том же костюме и пальто, что на визите у Сургеников, в них же он, к слову сказать, проходил всю гимназию и второй год штудировал науки.

«Ну что, здоров?» — спросил Эпалт, все еще не в состоянии прийти в себя.

«Хе-хе, здоров! Где там! Но подлечился, конечно. Смотри, какой живот. Уминаю чуть ли не кило масла в день. Сметаны обожрался, верно, до конца жизни в рот не возьму. Хозяева наконец спохватились, что я проедаю второе жалованье, и нашли истопника подешевле. Но я бы и сам ушел. Силы есть, а дольше ждать не могу».

«Чего ждать?»

«Благоприятного момента. Понимаешь, зарабатывая восемьдесят латов в месяц и прихварывая при этом, ни черта не накопишь. Половина на лекарства уйдет. Взгляни-ка на этот пиджак, на эти туфли».

Тюрзен раскинул руки. Пиджак основательно потертый, но если руками особенно не разводить, то еще ничего, приличный. Он выставил вперед левую туфлю, правую. Кожа верха вся в трещинах, как полотно старых мастеров, а кое-где в заплатках и отливает сухим косяным блеском, характерным для обуви, которую начищают изо дня в день долгие годы.

«Обнова мне не по карману. Вижу — поизносился совсем, пора в нищие подаваться. Недолго ждать осталось. А там уж никаких надежд выбиться в люди. Надо брать быка за рога, пока не поздно».

«Что ж надумал? Будешь искать работу?»

«Это все равно, что ждать у моря погоды. Сам знаешь, как мне везло. Да и здоровье не позволяет месяцами обивать пороги всяких учреждений. Я теперь пришел к норме, силенок поднакопил — это верно, но в таком качестве продержусь недели две, от силы месяца. Потом мне снова необходим уход и покой».

«Что ж ты за две недели успеешь?»

«Женюсь».

«Но, милый мой, это еще труднее, чем найти место. А графа де Сопляя небось забыл?»

«Я умерил прыть, у меня более скромные цели, — вздохнул Тюрзен. — Я готов довольствоваться малым, лишь бы пару лет пожить безбедно и вылечиться. А там, может, опять подвернется случай, пробьюсь наверх. Пойми же, другого выхода у меня нет. Или на дно, или жениться».

«Но на ком?»

«Вот в чем вопрос».

«Что же ты не подцепил в Бучауске какую-нибудь владелицу земельного надела или вдовушку?»

«Там меня знали как облупленного. Помощники врача и работники молокозавода числили верным кандидатом на скорую смерть. В тех краях меня остерегались, как ящур. Зато времени вагон, знай не зевай и собирай сведения. Что я и делал. Перебрал до единой все известные мне женские особи, подходящие для женитьбы, особенно бывших соучениц. Я в Риге уже вторую неделю. Все облазил и обнюхал, даже котелок купил для солидности, но — в Риге тоже надежды нет».

«Гм. С надеждами, уж не обессудь, вообще дело плохо. А на соучениц лучше не рассчитывать. Может, за две недели тебе и удастся окрутить их самих, но родителей — ни в коем случае. В такое короткое

время и без средств ты если и сумеешь заполучить кого, то какую-нибудь вдову в летах и с детьми, или сумасбродную старую деву, либо человека, внезапно потерявшего близких, скажем, свежееиспеченную сиротку».

«Правильно! В этом и состоит мой единственный и последний шанс: сирота».

«Сироты, как правило, небогаты».

«Дом и мастерская автогенной сварки в Айнажи — это все-таки кое-что».

«В Айнажи?»

«Да. Помнишь Карлину Пригу, из прогимназии?»

«Которая кончала на следующий год после нас? Ленивая малышка, звезд с неба не хватала и жуткая плакса. Вечно ходила в домотканой юбке и шерстяных чулках?»

«Она самая. Отца у нее не было, еще когда она в школе училась, а на позапрошлой неделе и мать скапутилась. В газете прочел».

«А другие родственники?»

«Никого заслуживающего внимания. Пара старых тетушек и брат-моряк».

«Вот видишь. Вполне достаточно, чтобы тебя спровадить».

«Штурман дальнего плавания. Надеюсь, его не окажется дома. Во всяком случае стоит рискнуть».

Эпалт подумал о Николине. Узнай она, какие он ведет разговоры, какие строит планы, отвернулась бы от него с чувством гадливости. Необыкновенно ясно представил он себе ее расширенные глаза, бездонно-глубокие и суровые, как орудийные дула, это выражение ужаса, смешанного с презрением, в тот самый первый вечер в доме у Сургениеков, когда он вещал свои теории.

«Это непорядочно, Мартин!» — вдруг произнес он резко.

«Что непорядочно?» — не понял Тюрзен.

«Обманывать одинокую девушку, пользоваться ее положением».

«Ты городишь чепуху. Какой же это обман, если я на ней женюсь? Кажется, всё при мне. Не пью, не курю, нравственного поведения, недурственной внешности, бережлив, знаю жизнь, к тому же еще студент. Жених первой статьи. Или ты думаешь, что у нее виды на другого, получше? Красавицей, помнится, она не была. Я не обманываю девчонку, наоборот, она будет счастлива со мной».

«Ты болен и нищ».

«Вылечусь. Она отдаст свое состояние в надежные руки. За два года я его удвою».

«А любовь?»

«Ну ты действительно выжил из ума. Я просто тебя не узнаю. Нещешь какой-то горячечный бред. Любовь! У меня петля на шее, а ему — любовь! Понимаешь, я человек твердых устоев. Не ветрогон, крепок и плотью и духом, почему меня не полюбить?»

«А ты, ты сам?»

«Я? Обязанности мужа буду исполнять на совесть. Должен быть порядок во всем, а маленькая Прига — не такая уж она уродина. К тому же, сколько ей теперь лет, она позже нас кончала, значит . . . двадцать два, три? В таком возрасте любая еще симпатична, вполне. Обо мне печалиться незачем».

Эпалт молчал. Что возразишь против тюрзенской логики?

«Поэтому не будем терять время на пустую болтовню, — продолжал Тюрзен, — надо смотреть в корень. Пребывание в Риге влетело мне в копейчку. Я, правда, тайком прихватил с собой килограммов



двадцать экспортного масла и с ведро сметаны, а молочным продуктам теперь цены нет . . . Кроватное место, телефонные переговоры, переписка, трамвай, немного белья и новая шляпа — на это ушли почти все деньги, осталось восемь с половиной латов, как раз на дорогу! Но не могу же я по приезде в Айнажи взять Пригу за руку и повести к алтарю, сразу не попросишь отписать имущество! Мне нужен распорядительный капитал».

«Жаль, что Душелис отправился в свадебное путешествие. У него теперь столько двадцатипятилатовых купюр, сколько у Сургениека одностолбовых монет».

«Хе-хе, парню повезло. А он тогда нас крепко испугался. Может, потом сменил гнев на милость?»

«Не совсем. Разве что в самом конце».

«Ну ладно, но на этот раз тебе придется мне помочь, именно тебе. Сам понимаешь, больше никому».

«Конечно. Но сколько я могу тебе одолжить? До жалованья еще далеко. Последняя неделя мне дорого стоила — пришлось брать напрокат фрак, покупать цветы . . .»

«Сколько у тебя денег?»

«При себе двенадцать латов».

«Двенадцать латов, — разочарованно протянул Тюрзен. — Аванс попросить не можешь?»

«Уже брал».

«У отца занять?»

«Сам знаешь — он еле сводит концы с концами».

«У дяди?»

«Пьяница никогда не дает займы, только занимает».

«У коллег по работе?»

«Держу про запас — все равно придется у них одалживать. Скорее уж у квартирной хозяйки».

В итоге друзья с немалым трудом выклянчили у хозяйки восемь монет. Весь распорядительный капитал Тюрзена составлял теперь двадцать восемь с половиной латов.

«Не считая пути назад, двадцать латов чистыми и кило масла на пропитание. Заложить, что ли, часы в ломбард? На что это будет похоже?»

«Оставь цепочку, как Шваукст».\*

«Не смейся. Тебе легко говорить. На эти деньги я продержусь дней десять. За десять дней мне предстоит повернуть все дельце. А если она меня не помнит больше? Класс, в котором она училась, был на другом этаже — в школе семьсот учеников . . .»

«Но мы часто ее разыгрывали».

«Что было, то было. Помнишь, я все грозился поджечь ей косу и однажды даже подпалил хвостик. Она так плакала, что у меня стало скверно на душе».

«И у тебя была дурная привычка примирительно протягивать ей руку, а к ладони подвешивать измазюканный чернилами клочок бумаги».

«И еще мы швыряли в нее мокрой тряпкой, которой вытирали доску. Тряпка была вся в мелу. На последней экскурсии я вывалил ей на голову целую пригоршню репьев и ко всему столкнул в яму с водой».

---

\* Персонаж романа братьев Каудзит «Времена землемеров». Имя его стало нарицательным и означает «хлыщ», «ферт». — Прим. пер.

«Нет, вы только посмотрите . . . К другим ты с такой силой не приставал».

«Верно, судьба. Она никогда не жаловалась, — вздохнул Мартин. — А теперь придется признаться ей в любви . . .»

Не теряя времени Тюрзен в тот же день уехал в Айнажи — берег силы. Друзья расстались на перроне. Эпалту врезалось в память твердоскулое, каменное лицо Тюрзена, вставшего с жалким узлом под мышкой у вагонного окна, чтобы помахать на прощание провожающему. Вперившийся во тьму тяжелый зияющий взгляд, словно это призрак смотрит вдаль пустыми глазницами, и тонкая, как волос, линия плотно стиснутых губ, выдающая неколебимую, отчаянную решимость. Денег на обратную дорогу у него не было.

## 10

Взять ли мне сердце в клещи фантазии  
И галантно вручить, как цветок?

Александр Чак

Покрашу кожу себе  
И стану черным, как бес.

Марта Гримм

Эпалт стал нервничать еще в библиотеке, под конец рабочего дня. Близится половина четвертого, Николина скоро будет дома. Неплохо бы перехватить ее по дороге или по крайней мере взглянуть на нее издали. Но нельзя же что ни день манкировать служебными обязанностями, хотя бы заведующий и твой родной дядя. Зато едва истекло рабочее время, Эпалт, наскоро пообедав, помчался на площадь против Яковлевской улицы и притаился в сквере. Рановато, конечно, Николина направится к Сургениекам примерно в половине восьмого, а может, не пойдет вообще, так как банкир далеко не каждый вечер занимался делами в станах своего дома. Но Эпалт уговорил себя, что просто гуляет на свежем воздухе.

Промаявшись с полчаса в заиндевевых аллеях, обсаженных живой изгородью и кустарником, он внезапно услышал барабанный бой и гулкое буханье духового оркестра: по Яковлевской строем шагали пожарные, видимо возвращавшиеся с какого-нибудь парада, похорон или проводов, этим труженикам не привыкать стать. Предмет зависти всех мальчишек — топорики, похожие на индейские томагавки, были заткнуты за широченные пояса, над которыми изящно колыхались красиво переплетенные веревочные гирлянды, у некоторых храбрых молодцев вся грудь сверкала медалями, словно это были атлеты, а не пожарники. Ослепительно блестели надраенные медные каски.

Эпалт вдруг обратился в соляной столб.

В первом окне третьего этажа дома номер два раздвинулись занавески и показалось лицо светловолосой девушки, видно привлеченной звуками браваурного марша.

Николина и ее окно! В душе у Эпалта запели скрипки. Случай не часто баловал его. Эпалт имел обыкновение утверждать, и не без гордости между прочим, что все счастливые совпадения в его жизни были результатом собственных усилий и продуманных действий. И вдруг подарок Фортуны. Его ликованию не было предела.

Пробившись сквозь толпу зевак, всегда сопровождающих любую мало-мальски приметную процессию на рижских улицах, он встал

прямо напротив ее окна и, едва Николина глянула вниз, на площадь, помахал ей в знак приветствия. Она — да будет славен сей день и час! — поздоровалась с ним легким кивком. Постояв под окном Николины еще минуту-другую, он исчез из виду.

С ним творилось нечто невообразимое. Казалось, Фортуна взяла его на руки и, придерживая за подмышки, баюкала и несла навстречу счастью и триумфу. Хмелея от восторга, он вломился в телефонную будку на краю площади и, с трудом сдерживая клокотание в груди, решительно набрал номер, который дала ему сегодня справочная, куда он позвонил со служебного телефона, как только за дякуюшкой закрылась дверь.

Ответил голос Николины.

«Ник . . . мадемуазель Буйвид! Это Павел Эпалт».

В трубке что-то прошелестело. Смешок? Вздох? Взволнованное дыхание?

«Здравствуйте. — Пауза. — Г.м. Очевидно, я должна поблагодарить вас за цветы. Действительно приятно».

«Что? Ах, цветы? А я уже совсем о них забыл. (Безумец, что ты мелешь!?) Как вам . . . как вам понравилось шествие?» — Опять шелест. «Что в нем такого». (Балда! Вот тебе за твоё фиглярство!)

Эпалт собрался с силами.

«Что вы делаете сегодня вечером?»

«Работаю».

«Но ведь не целый вечер?»

«Увы».

«У Сургениекв?»

«Возможно».

«До которого часу?»

«До половины одиннадцатого, а то и дольше».

«А потом что будете делать?» — Смех.

«Пойду спать».

«А перед тем как идти к Сургениекам?»

«Заниматься».

«А завтра вечером?»

«Английский письменный».

«Весь день?»

Смех.

«После обеда».

«А вечером?»

«Приглашена в гости».

«Но между полуднем и вечером?»

«Отдохнуть тоже не мешает».

«И послезавтра то же самое?»

«Приблизительно».

«Господи, смилуйся надо мной, грешником. Ваши аудиенции распланы детальнее, чем у английской принцессы крови».

«Выходит, что так».

«Подойдите хотя бы к окну».

«Опять какое-нибудь шествие?»

«Если необходимо, я найму оркестр!»

«Нет, без этого вполне можно обойтись. Я сейчас очень занята. Учусь стенографировать. Спасибо за внимание. До свиданья».

С чувством горечи и обиды Эпалт повесил гудящую трубку. Он слишком стремительно выпал из объятий Фортуны, грохнувшись о цементный пол телефонной будки. Сстулившись вышел на улицу. На

нем лица не было. — Так оскоромиться! — Заскрежетал зубами. Его душили разочарование, стыд, злорада, надежде места не оставалось. Как у всех влюбленных, настроение у него колебалось, словно на безумных качелях, — от безрассудного ликования к неутешному горю, от смелых надежд к тупому отчаянью. Прошло немало времени, пока он привел свои мысли в порядок и снова обрел способность к рассуждению.

Ведь ничего не потеряно. Отбита только первая вылазка. Это нормально и даже хорошо. Веди себя Николина иначе, она непременно заронила бы в нем искорку неуважения к себе. Николина же держалась не заносчиво и не надменно, благодарила там, где положено благодарить, не затягивала разговор, но и не оборвала его грубо. Одним словом: чистая работа. А теперь — не сдаваться, ни в коем случае. Ничем не выказать своего испуга или вожделения. Всю эту аферу обратиться в шутку. И самое важное — действовать несколько необычным образом. Необычным? — легко сказать.

Прибегнуть к перу? Эпалт, как и подобает уважающему себя библиотечарю, верил в необоримую силу писаного слова.

В устной речи недолго и оговориться, сорвать голос, и потом никогда не знаешь, уловил ли собеседник все нюансы сказанного. Легко выдать себя интонацией, выражением лица. Тут все отдано на откуп случаю. Письму же, напротив, присуще нечто демоническое. Уже в самом цепном нанизывании слов таится чудесная магия, дурман. Можно отшлифовать, ограничить и заключить, подобно драгоценному камню, в золотую оправу плавно льющихся слов любой тончайшей оттенок мысли, острие иронии, мягкую подстилку подобострастия, ягодку лести, неуловимое веяние любовного чувства. Устное слово давно уже отлетело и погасло, а написанное — вот оно, в своем чудовищном постоянстве, блестит все ярче и ярче, манит блуждающими огоньками, заставляя читать и перечитывать, толковать и перетолковывать, пока не увлечет в бездну, как увлекает в омут зазевавшегося на перекате лодочника.

Разве не письмо проторило ему путь к Гризельде? Но о чем станешь писать теперь?

На длительной прогулке у Эпалта зародился план: он будет издавать газету. Нет смысла тянуть резину. Он присел к столу и принялся за работу:

Экстренный выпуск газеты «Таймс».

Лондон, X декабря 193\* года.

### **Необыкновенное происшествие на Сент-Джеймс стрит**

Какой уличный мальчишка не знает, что в аристократическом районе Лондона, на Сент-Джеймс стрит высится старинный дворец из розового мрамора, где живет принцесса Николетта, праправнучка королевы Виктории. Уже много лет в лондонском высшем свете ходят толки о странном образе жизни, который ведет принцесса. Наделенная самыми замечательными душевными качествами и телесными достоинствами, она проводит свои лучшие годы в добровольном затворничестве. Поговаривают, что она наложила на себя епитимью, дабы искупить грех одного своего предка, точнее, леди, которая четыреста лет назад как-то раз, между Мартыновым днем и Крещением, в разговоре по телефону отклонилась от истины. Принцесса подходит к окнам дворца лишь однажды за весь сезон, а именно, в свой день рождения, когда по этому поводу на Сент-Джеймс стрит устраивается парад королевской гвардии. Любовь народа к принцессе

не знает границ; сотни тысяч людей, из самых отдаленных доминионов империи, приезжают в столицу, чтобы стать свидетелями явления Ее Высочества народу.

Так было и на сей раз. Неисчислимые массы людей загрохотали улицы, площади и переулки, начиная от Национальной галереи, Трафальгар-сквера и до самого Букингемского дворца. В полном облачении, блистая мундирами, дефилируют отряды наших великолепных гвардейцев. В лучах закатного солнца их золотистые шлемы блестят как . . . как звезды, луна и солнце! — О, воинские шлемы, о, эти изумительные каски, вы по-прежнему предмет мечтаний и чаяний всех лондонцев. У какой красавицы не забьется в волнении сердце, у какого старца не вспыхнет на увядших устах сладостная улыбка воспоминаний, какого школяра не прищпорит в слабые чресла завистью при виде медных, золотых или иных восхитительно ярких головных уборов?

Шестьсот семьдесят оркестров раскупили свои трубы, и бесчисленные сверкающие тромбоны и фанфары нацелили в небеса серебряные жерла — великий миг настал.

Принцесса раздернула портьеры.

Ее движения были исполнены столь несравненной королевской грации, что необозримая толпа пошатнулась и устыдилась своей невежественности и неотесанности перед лицом этой надмирной красоты. И когда на устах принцессы заиграла благородная, чарующая улыбка, перед которой меркнут любые эпитеты, ей воздали хвалу даже старейшие социалисты, даже твердокаменные коммунисты, не говоря уже о заядлых анархистах, причем более ста сторонников анархии повалилось в обморок по причине чрезмерного восторга.

Едва принцесса, провожаемая оглушительной овацией, снова скрылась из глаз, на Сент-Джеймс стрит произошло нечто невероятное. Некий молодой, неказистый с виду мавр вломился в будку публичного телефона на Сент-Джеймс стрит, и по благоговейному почтению, с каким этот чрезвычайно восторженный и щедрый на жесты юноша обращался с телефонной трубкой, стало ясно, что он вызывает палатцу и саму принцессу, чтобы лично выразить ей свое бесконечное восхищение.

Толпа пришла в движение. Некоторым дерзкий поступок чернокожего мальчишки показался бесстыдным богохульством и святотатством, послышались призывы предать его суду Линча, как вдруг все стали замечать, что лицо говорящего искажает животный страх, вот оно побелело как полотно, и негр упал замертво с перекошенной физиономией.

Кто не знает, как переменчиво настроение толпы! Публике внезапно стало жаль цветного юношу, единственным преступлением которого было, конечно, его доброе сердце. Немедленно были вызваны водная и конная полиция, патри- и матримониальные пожарные части, стражники близлежащего Букингемского дворца, карета скорой помощи, несколько ветеринаров и священники четырех главных конфессий. Директор Национальной галереи, наблюдавший за происходящим через резное оконце хранилища, организовал дополнительную спасательную команду из препараторов и реставраторов музея, самолично взяв на себя руководство, причем безвозмездно.

Действуя с необыкновенной поспешностью, пожарной, при поддержке спасательных команд и арьергарда уходящей лейб-гвардии, меньше чем за час взломали будку, вынесли оттуда несчастного и уложили его на розовые мраморные ступени дворца принцессы.

После продолжительного искусственного дыхания, повторного наложения горчичников и неоднократных доз бертолетовой соли бедняга очнулся на руках у множества реставраторов. Его отталкивающее лицо, одухотворенное безграничным страданием, казалось едва ли не прекрасным, а содрогающееся в конвульсиях тело напоминало растоптанную лилию и воплощало собой неизбывное отчаянье. Женщины плакали, мужчины обнажили головы, мальчики певчие из ближнего Сент-Джеймского собора выводили *te Deum*. Старший викарий упомянутого храма, желая причастить умирающего, от волнения перепутал все на свете и выполнил обряд конфирмации, а случайно очутившийся среди публики вице-директор института микропатологии вместо инъекции камфоры для поддержания сердечной деятельности в смятении дезинфицировал мавру пятки двухпроцентным раствором креозота.

Вдруг лицо страдальца передернулось, по нему пробежала горькая и безнадежная усмешка, из последних сил воздев тонкие руки к окну, в котором появилась принцесса, он с громким вздохом отдал Богу свою черную душу и повалился на руки начальника дополнительной спасательной команды.

Обследовав покойного, коновалы высказали вполне определенное предположение, что смерть его наступила от неумеренного употребления росистого клевера. Только теперь публика заметила, что несчастный африканец в эти последние мгновения совершенно поседел, и седина придала его облику красоту и благородство. В кармане у него нашелся паспорт на имя мавра Зебгугу.

Редакция имеет честь сообщить, что благодаря образцово налаженной связи с кухней принцессы мы получили возможность описать ход событий во дворце. «Приняв парад лейб-гвардии, — сообщает специальная корреспондентка и наш обозреватель по вопросам придворной жизни и бонтона — первая подсобница главной посудомойки старшего поваренка дворцовой кухни, — имел быть семейный ужин суаре-интим, на который званы были две дюжины зарубежных принцев и принцесс и с ними около трехсот лордов, герцогов, пэров, членов верхней палаты и т. п. Внезапно все пришло в ужасное смятение: распространилась наслышка, что некий безумец телефонирует напрямик в покои принцессы и просит к аппарату ее самое. Подобной наглости и бесстыдства не помнят даже старинные хроники, вы не найдете этому аналогии и в дворцовых анналах, и когда седовласый лорд-церемониймейстер, дрожа всем телом, прошептал на ухо принцессе, что исторические прецеденты отсутствуют, двор, пораженный столбняком безмолвного ужаса, напряженно следил за тем, как угрожающе вздымается мизинец принцессы в знак того, что старшей камер-фрейлине надлежит сказать придворному сенешалю, чтобы он велел дежурному пажу отдать распоряжение камер-лакею, дабы тот побеспокоился отправить генерала стражи за офицером конной полиции с приказом рассеять толпу, из недр которой вынырнул этот ублюдок, виновника же бросить в самый что ни на есть антисанитарный каземат Тауэра.

Вмиг эскадроны оседлали коней. Три тысячи эскадронов уже сверкнули в воздухе, чтобы плашмя опуститься на головы и плечи бессовестных лондонцев, но тут на сиятельные губах заиграла совершенно дьявольская ухмылка. Грациозно согнув чудно-нежный и сахарно-сладкий пальчик, они отозвали свой приказ и потребовали аппарат. Двенадцать чистокровных герцогинь, предки которых пришли в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем, подали ей на пур-

пурной подушечке телефонную трубку. В лазоревых, как у ласточки, глазках принцессы полыхнул благородный гнев оскорбленной крови, невыразимо очаровательный и властный ротик скривился в презрительной усмешке, чистый воркующий голосок зазвучал по-королевски холодно и сухо, так холодно, что хотя слов, которые принцесса говорила негоднику, никто не расслышал, она казнила его суровей и справедливей, чем дыба, позорный столб, цугундер и вечная каторга».

В связи со случившимся редакция взяла несколько интервью:

«Это самая волнующая трагедия нашего исполненного социальных противоречий столетия», — высказался лидер социал-демократической партии лорд Пентон.

«Проклятые бездельники миссионеры! Куда они девают громадные суммы вспомоществований? Даже уважения к белым не сумели привить», — раздосадованно заявил архиепископ Вестминстерский.

«Лишнее доказательство того, что в борьбе с господствующей расой самым действенным средством была и остается голодовка», — улыбаясь, заметил Махатма Ганди.

«Мир нестерпимо консервативен, — сказал Бернард Шоу, — принцессы влюблялись в мавров еще во времена Шекспира, продолжают флиртовать с маврами и теперь».

— Длинновато, — вздохнул Эпалт, откладывая в сторону ручку. — Но что поделать, если короче не выходит? Я все же не писатель.

Однако по завершении всякой трудной работы всякий человек испытывает чувство удовлетворения, он полон сознания собственного достоинства и надежд, и Эпалт тут не исключение. Еще и десяти нет. Если постараться, можно успеть вручить письмо Николине сегодня вечером. И это самый правильный ход!

Наскоро одевшись, он поспешил на Яковлевскую. На улице Валдемара ничего подозрительного незаметно. Николина у Сургениевых. Эпалт молнией взбежал на третий этаж, кинул письмо в ящик Августа Квесте и с такой же быстротой сбежал вниз по лестнице, бухнувшись прямо в объятия ночного сторожа, как раз собиравшегося замкнуть парадную.

Несказанно довольный собой и вновь погруженный в мечты, бродил Эпалт по площади. Чудная ночь. Снег приятно похрустывал под ногами, Млечный Путь мерцал на небе, будто дальняя гряда облаков, город мерно гудел и урчал, как медведь, отправляющийся в берлогу. Этот уголок Старого города между арсеналом, Латвийским банком и цитаделью казался таким заброшенным и тихим, как лондонское Сити по воскресеньям.

День, полный треволений и забот, подошел к концу. Можно смело утверждать: сделано немало. И впрямь, за два дня, минувшие с тех пор, как он ясно осознал свои душевные влечения и цели, вряд ли можно было бы сделать больше. Старина Мартин Тюрзен, ты, неудачливый граф, а ныне разбойник с большой дороги, дай Бог, чтобы тебе везло так же, как везет сейчас мне! — Приятная усталость разливается по всему телу, и хотя на улице нешуточный мороз, одолевает зевота. Пора домой.

Стойте, кто там идет? Николина и . . . Быть того не может, с ума сойти, Шетурины! Гувернер Шетурины! Взлохмаченный краснощекий юноша, дрожащий как осиновый лист при виде хозяев и не знающий, как угодить воспитанникам и их друзьям. Художник, увидевший самую драгоценную и хрупкую из своих ваз в мохнатых лапах орангутанга, всполошился бы, пожалуй, не так сильно, как Эпалт, узревший эту парочку. Вцепившись Николине в локоть, педагог в стоптаных,



криво зашнурованных башмаках семенит рядом с дамой, пытаясь приладиться к ее балетной походке. И обычно неразговорчивая, резкая Николина что-то быстро ему втолковывает, с самым серьезным видом. А вот и парадная дома номер два. Она раскрывает сумочку, нашаривает ключ и протягивает его спутнику. Эпалт зажмуривается. Сейчас войдут в дом оба! Требуйте чего хотите, но не заставляйте смотреть на эту чудовищную, унижительную сцену! Через мгновение он все-таки приоткрывает глаза. Слава Всевышнему! Слава! Они расстаются тут, на улице. Правда, домашний учитель задерживает руку Николины в своей на целых полсекунды дольше, чем следовало бы, но это просто манна небесная, а ведь еще мгновение — и разверзлись бы небесные хляби.

Так. Необходимо обдумать открывшиеся обстоятельства . . . но мозг отказывается служить. На сегодня с него довольно. Спокойствие! И стараясь ни о чем не думать, Эпалт широким шагом направился домой, по дороге глубоко вдыхая воздух тишины и холодного покоя зимней ночи.

\*

Эпалт, разумеется, не замедлил воспользоваться приглашением Дагне не забывать Сургениеков и после свадьбы Гризли. За Шетуринем, каким бы он безобидным ни казался, нужен глаз да глаз. Учитель с незапамятных времен отирается возле кабинета, еще Имант над ним посмеивался. И хотя к должности домашнего наставника, да и ко всему облику Шетурия, запуганного, с дергающимся лицом, вечным морганием, с этим нервным тиком, очень даже подходит несчастная любовь, тот все же тихой сапой невероятно продвинулся вперед: ему дозволено провожать Николину, поддерживать ее за локоток и, что самое сногшибательное, Николина разговаривает с ним как с равным. Просто скандал! Необходимо выяснить все досконально.

Как обычно, первым, кого Эпалт встретил в доме Сургениеков, был Ималин-гуталин. Тот искренне ему обрадовался:

«Легки на помине! Только о вас подумал. С орденом плохо».

«Раскрыт?»

«Нет, до этого не дошло, но мощная неувязка с регламентами. Понимаете, Вилибальд однажды проболтался дома своей сводной сестре Иресе, что мы принадлежим к славному ордену, правда не сказал, к какому. Та возьми и доложи обо всем Спрукулису, тот братану, они теперь мощно над нами ржут. За это капитул наложил на Вильку однодневный обет молчания. Ладно. Но в школе в этот день его как нарочно дважды вызывали отвечать. Вилька не поддается, молчит, ни бэ, ни мэ, получает свою законную, выслушивает нотации и садится на место. У меня душа радуется, ведь если в ордене такая дисциплина — прочь с дороги! Но после уроков мы прем домой всей гурьбой как шальные, и тут Вильку останавливает директор и ласково с ним заговаривает. Тот, понятное дело, молчок. Директор мощно удивлен — оглушило его, что ли, или сам оглох? А Вилька ни-ни. Гром гремит, земля трясется — директор вталкивает Великого Дракона в свой кабинет и там разоряется битый час. Допрос, пытки, ругается, чертыхается, грозит выкинуть из школы и под конец собрался звонить консулу, Вилиному дяде. Ну, бедняга видит, что финиш, и разжал зубы . . .

По Книге Уставов он, как не отбывший наказания, считается исключенным и отпущенным на все четыре стороны, его «всячески и как

угодно надлежит преследовать, обманывать, очернять, а лучше всего убить на месте».

«Вот это было бы жаль. Он неплохой парень и держался молодцом. Примите его назад».

«Это не так просто сделать. Он должен покаяться: обнаженным по пояс, с вервием на вье встать около здания капитула, пасть на колени перед каждым братом, вымолить пощаду и получить от каждого по крайней мере три оплеухи. А Вилибальд говорит: будь сейчас лето, он бы не возражал постоять ранним утром, когда улица еще пустынна, полуголым перед нашим домом, пускай и с веревкой на шее, но теперь, зимой, можно простудиться. К тому же становиться на колени перед ребятами он все равно не согласен, считает это унижением для себя, а про пощечины и слышать не хочет. В своем роде он прав, но, с другой стороны, если мы не будем жестко соблюдать правила, то дисциплина в ордене вконец расшатается».

«Да, действительно, дело сложное, — сказал Эпалт после долгого раздумья. — Видимо, остается только один выход. Примите Вилибальда в орден под чужим именем, как другого человека».

«Вот здорово! — обрадовался Имант. — Я так и думал, что вы что-нибудь подскажете. Вычеркнем Вилибальда Майора и примем Вилибальда Подника. Он-то на самом деле Подник и есть — сын сестры консула. Консул только велел ему переменить фамилию, чтобы фирма сохранила старинную вывеску. А вы не вступили бы в наш орден? Вы же видите, там для вас самое место и пришлось бы ко двору. Верно, думаете, у нас одни мальчишки. Вот, глядите . . .»

Он выхватил из нагрудного кармана Книгу Уставов, где череду подписей венчал автограф Цезаря Шетурина. Очевидно, учитель записался в орден, лишь бы угодить своему воспитаннику.

«И на какую должность вы его определили?»

«Хе, хе, палача . . . автоматически зачисляется последний из вступивших в орден. Он только *præficus* и об адептах и магистрах еще ничего не знает. Я говорил также с Задох . . . э, господином Спрукулисом, ему, конечно, придется дать более высокий градус, по меньшей мере *adertus*. Ну, чего там, подписывайтесь, ребята согласны, никаких церемоний вам проходить не придется, сегодня вечером у нас заседание капитула, дадите клятву в мешке и с пробкой в зубах, и дело сделано».

Эпалту вся эта затея не очень-то пришлась по нраву, особенно насчет подписи. Черт его знает, что станет потом с этими «Старыми обязанностями» и кому его подпись попадет на глаза.

«Дружище, — сказал он, положив Иманту руку на плечо, — к чему такая спешка? Орден никуда не убежит. Сегодня вечером у меня и времени не будет прийти на заседание капитула».

«Вы же еще не уходите, останетесь с Дагне. Ребята вот-вот явятся, весь номер займет не больше двух минут».

«Давайте пока отложим, ордену даже выгодно иметь сочувствующих на стороне . . .»

Но Эпалт забыл, что имеет дело с Сургениеком.

«На нет и суда нет», — сухо сказал Имант и удалился. Порасспросить о Шетурина и Николине так и не удалось. Поди знай, не станет ли теперь Имперский Маг строить ему козни? Вступи он в пауки, можно было бы использовать мальчишек в качестве разведчиков, попросить их понаблюдать и следить за каждым шагом Николины, подслушивать каждое сказанное ею слово. Уж он-то нашел бы вескую причину, для чего это нужно, а мальцов хлебом не корми, дай поучаствовать

в подобных приключениях. Поспешишь — людей насмешишь. Эпалт уже проникся было сожалением, но вдруг залился краской стыда. Какие отвратительные, недостойные идеи! Неужто мужчина, хоть сколько-нибудь себя уважающий, способен допустить, чтобы в отношении между ним и его избраницей вмешивался кто-то третий? Шпионить, вынюхивать? Ни за что! Любовь — это когда честно и в открытую.

В кабинете тарактела пишущая машинка . . .

Но на пороге уже показалась улыбающаяся Дагне, сама любезность.

Они часик поболтали, дождались ее приятельниц, поужинали, сели играть в карты — Эпалта ни на минуту не оставляли одного. У него не было повода зайти в кабинет, он не решался вспомнить свадебное торжество и сказать, что хотел бы поздороваться с Николиной, да это и выглядело бы неподобающе, поскольку ее имя за весь вечер ни разу не упоминалось, по крайней мере при нем. Так он и маялся за чашкой чая и картами, сердито поглядывая, как румяный Шетуринь то и дело заходит в кабинет — стук пишущей машинки сразу же обрывался. Мерещилось, что и Дагне заметила его необычную рассеянность и с растущим подозрением перехватывает его блуждающий взгляд.

Часов в десять к ним с шумом и грохотом ворвался Висвальд и напрямик направился к дверям кабинета.

«Там никого нет, — сказала Дагне. — Папа еще не пришел».

Но красавчик братец только сверкнул белозубой улыбкой и исчез за дверьми, и вскоре из кабинета донесся его мужественный смех. Девицы переглянулись, вытаращились на Эпалта, который заерзал как на иголках, и спустя минуту карточная партия возобновилась.

Невыносимо. Обеспокоенный Шетуринь тоже шныряет вокруг. Сколько еще тут торчать без толку? Вбежать ни с того ни с сего в кабинет? Подождать, пока Николина соберется уходить, и навязаться в провожающие? Или просто удрать — еще не поздно, она и не догадается, что я тут был? — Покамест Эпалт взвешивал все за и против, пробило половину одиннадцатого. Стукнула дверь, мгновенный взгляд, короткое «пока», и Николина исчезла в прихожей. — Провались все в преисподнюю! Она меня засекала, здесь, возле Дагне! К ней я не зашел. Что она подумает? Я могу теперь из кожи лезть вон, на словах и на бумаге, — не поверит. Как же так, почему я всегда выбираю самый худший вариант? Но еще можно спасти положение, если послать к черту хорошие манеры и пристроиться к ней на улице . . . Покуда он колебался в нерешительности, Висвальд, лениво покачиваясь всем туловищем, показался в дверном проеме.

«Дагне, если позвонит Жабье, скажи, что я в „Кубезелии“». И, кивнув девушкам, он прошел в прихожую и успел как раз вовремя, чтобы преградить дорогу Шетуриню и задержать Николину. Они ушли вдвоем.

Весь вечер игра у Эпалта не клеилась: то обдернется, то забудет про взятку, то не расслышит, что объявит партнерша. Теперь же у него вдруг возникли неотложные дела, ночные телеграммы, поздравительные визиты. Он просто задыхался. В спешке, граничащей с неприличием, попрощался и ушел, но опоздал, не успел высмотреть вдали парочку — на улицах ни души.

Принц и машинистка — это гораздо опаснее, нежели домашний учитель и принцесса.

\*

Итак, оправдались самые дурные предчувствия. Его опередили. Надо действовать. Энергично и не теряя времени. Вопрос только,

как и где. Пропади Николина без вести в либерийских джунглях, он проложил бы себе дорогу с помощью мачете; как безумный без остановки и передышки рубил бы направо и налево лианы, косил под корень тростник, раскалывал бамбук, проламывался сквозь чащу, как олень, увязал по горло в трясине, карабкался, цеплялся, барахтался, брел, лез, полз и мчался во весь опор. Возьми ее в плен людоеды, он бы набросился на них с голыми руками, бил, кусал, пинал, давил, мял, щипал, душил, царапал, бодал и рвал на куски, пока не свалился бы у ног своей богини весь израненный, пронзенный копьями, подбитый бумерангами, но доблестный воин . . . Там-то все просто: быстрее, сильнее, смелее, вперед и только вперед! А тут — как подступиться к этой сдержанной, замкнутой девушке, ведь ее никто не обижает, совсем наоборот, все наперебой стараются ей угодить, провожают до дому . . . Что делать с изворотливыми соперниками, которые предельно учтивы и вежливы?

Эпалт ощущал такой подъем сил, что сорви сейчас запоры, и заключенная в нем энергия взорвала бы полмира. Да уж, энергии хоть отбавляй — приложить некуда. Каждый шаг чреват провалом, а там и насмешки и позора не оберешься. Вообще он подметил странную вещь — как только дело касается Николины, здравый рассудок отключается ему служить. Чем больше он размышлял о своих похождениях, тем глубже погружался в оцепенение, все было как во сне. Бог знает, что Николина подумала о его «газете». Но как он ни чесал в затылке, ничего другого в голову не приходило, пришлось снова браться за перо. С тяжелым сердцем.

Вырезка из газеты «Таймс» от 11 декабря 193\* года.

### **Фиглярство полоумного негра**

Отпраздновав день рождения, Принцесса Nicoletta вновь усердно принялась за учебу под руководством убоженного сединами ректора prof. dr. phil. et mat. et iur. et chem. et thed. Shetoorng'a, который также ежевечерне сопровождает Принцессу до дому. (Вряд ли разумно верить охрану нашей обожаемой Принцессы столь беспомощному книжному червю, имеющему к тому же весьма слабое представление о придворном этикете. — Прим. ред.) Разумеется, в таких обстоятельствах неизбежны всяческие происшествия: когда между двадцатью двумя и двадцатью тремя часами лимузин Принцессы остановился у дворца на Сент-Джеймс стрит и щедушный профессор, борясь с одышкой, пытался помочь Принцессе выйти из машины, какой-то черный человек выскочил из-за кустов, упал перед Принцессой на колени и протянул ей довольно подозрительного вида свиток. По счастью, личный шофер Принцессы лорд первый камергер, мужчина сильный и отважный, хорошо рассчитанным кулачным ударом свалил настырного негодяя на землю; дело довершили ночные стражники, дворецкие, лакеи и дворцовая охрана, избившие мерзавца до потери сознания.

В префектуре негодяя быстро привели в чувство, исколошматив резиновыми дубинками. Велико же было удивление полисменов, когда открылось, что душегуб и висельник, которого только что примерно отдубасили, есть не кто иной, как бесстыжий мавр Зебгугу, нанесший оскорбление Принцессе в день ее тезоименитства. При сем полицейские чины вновь задали ему трепку. Ветеринары, приняв обыкновенный обморок за смерть от неумеренного употребления росистого клевера, очевидно дали маху и в ожидании прибытия роспусков для отправки тела в морг поместили останки цветного среди

штабелей старых рам в Национальной галерее. Оставленный без присмотра мертвец пробудился от укусов жучков-точильщиков и убежал. За это толстогубому тоже досталось по заслугам. Свиток, который чернокожий намеревался вручить Принцессе и где, разумеется, могли содержаться одни только идиотские писания умалишенного и ума лишенные писания идиота, был съеден негром в драке перед входом во дворец. За это ему вновь выдали на орехи, но чиновники к тому времени уже подустали, а дубинки поистерлись, поэтому на сей раз черномазый отделался легким испугом. Для заточения его в тюрьму не нашлось, однако, достаточных оснований.

Все это можно было бы счесть за отличную шутку, не повтори Зегугу вчера вечером своего нападения. Принцессу сопровождал сам Принц Уэльский, вооруженный тростью-рапирой, кольцом-кастетом и плоской фляжкой-револьвером. Грудь его была прикрыта широким золотым обручем, а голову покрывал золотой шлем конногвардейца, способный выдержать едва ли не любой удар.

Как только авто остановилось возле дворца, черный дикарь выскочил из водостока, где прятался целый день, и уже пал было ниц перед Принцессой. Но вылазка его не была неожиданной для окружающих. Принц Уэльский еще не успел пустить в ход весь свой арсенал, как четвереста дворецких, предводительствуемых главным дворецким, сто шестнадцать ночных стражников под началом генерал-обер-швейцара и штатная дворцовая стража-инфантерия численностью в батальон набросились на мерзавца и стали лупить его, и только чрезмерная скученность участников оборонительного сражения, вызвавшая сутолоку и неразбериху, позволила наглецу ускользнуть, оставив в руках отважных защитников дворца лохмотья своей одежды.

Печальный пример того, как далеко может завести мавра безумие.

Упорство лондонского чудовища показывает, что нападения будут повторяться. Полиция города и гарнизон со вчерашнего вечера находятся в состоянии боевой готовности. Всем тюрьмам дано распоряжение подготовиться к приему опасного преступника.

\*

Вечером следующего дня Эпалт поджидал Николину в кустах зеленых насаждений неподалеку от ее дома. Мерзко и унизительно, но ничего не поделаешь. Дай Бог, чтобы на сей раз ее провожатым оказался Шетуринь.

Так оно и было. Едва они миновали пост наблюдения, как Эпалт вышел из тени кустов на освещенную улицу:

«Хэлло! Куда это вы так поздно? Как делишки? Как успехи? Куда собрались?»

Николина взглянула на говорящего с нескрываемым любопытством, а Шетуринь с перепугу даже утратил на миг свою автоматическую вежливость и обходительные манеры.

«Это еще что! — зарычал он, но сразу опомнился. — А-а, господин Эпалт. Приветствуем! На прогулке в столь поздний час . . . отличная погодка, не правда ли? Вот и я вышел вместе с мадемуазель Буйвид подышать свежим воздухом».

«Говорят, в моем районе стало небезопасно», — сказала Николина, подавляя смехок.

«Небезопасно? Не может быть, в самом центре, возле цитадели и банка, вы шутите», — пролопотал Шетуринь.

«Как раз там, где хранятся уникальные ценности, вору и кружат», — заметил Эпалт. Они подошли к ее парадной.

«Господа, — сказала Николина, раскрыв сумочку, чтобы достать ключ, — благодарю за компанию . . .»

«Что это! — воскликнул Эпалт, подбегая к Николине. — Там кто-то крадется!»

«Хе-хе, кошка», — засмеялся Шетуринь. Но пока он разглядывал рыжего кота, Эпалт ловко опустил в отверстие зев дамской сумочки маленький сверток.

Николина попрощалась, скрипнул в замке ключ. Соперники молча пожали друг другу руки и разошлись. Эпалт удалялся прочь бодрой походкой. Мавр сделал свое дело: в сумочке у Николины лежал целлулоидный пупс-негритенок, держащий исписанный листок бумаги — плод нелегких усилий вчерашней ночи и сегодняшнего дня.

### Челобитная мавритенка

Неужто велите прогнать меня прочь? —  
Принцесса, паду на колени:  
Я мал, я гол, я черен, как ночь,  
Молю Вас о снисхожденье.

Мечтаю быть Вашим слугой, Госпожа,  
И нет лучшей доли на свете.  
Я буду послушен в роли пажа,  
Нем и, как мышь, незаметен.

В половине восьмого подам я в постель,  
Чтобы кончился сон непробудный,  
Кофе черный, как Ваши зрачки, мадемуазель,  
Робко выдохнув: «Доброе утро!»

Перламутровый блеск Ваших нежных ланит  
Освежит молоко кобылицы.  
И с хрустальным сосудом в спальню спешит  
Верный паж, чтоб могли Вы умыться.

Вот чулочки, ажурные, как туман,  
Башмачки крокодиловой кожи.  
Одевайтесь Вы — и схожу я с ума  
И мгновенья не знаю дороже.

Выезд подан. Финансов проверка грядет —  
Отбываете в царство мужчин.  
У дворцовых тяжелых чугунных ворот  
Я накину на Вас палантин.

Вот дворец опустел — и обрыдли мне враз  
Гетры, шляпа и красный камзол.  
Я томлюсь у окна . . . Чу! Желанный мой час,  
А точнее, четвертого пол.

Барабанная дробь возвещает отбой!  
Развевается гордо штандарт. —  
О! Государыня вернулась домой.  
Я кричу что есть мочи: «Виват!»

Радость полнее  
Испытать нам дано,  
Если полезное  
С возвышенным обручено.

Карлис Екабсон

Айнажи.

Декабрь 193\* года.

Привет, старина!

Прилагаемая двадцатилатовая купюра — молчаливое свидетельство того, что я счастливый жених. Заранее благодарю за твои поздравления. Через 14 дней под венец. Никаких торжеств по этому случаю не ожидается, тем не менее приезжай, если сможешь, будешь моим свидетелем, выпьем в кругу близких «бокал вина», как печатается на приглашениях в хорошем обществе.

Ты хочешь знать, как все получилось? Приехал в Айнажи ночью. Поселился в самой дешевой гостинице, хотя и тут пришлось выдать полтора лата. Перво-наперво как следует выпался. Наутро у прачки, кухонных работниц и обитателей ближайшей богадельни собрал подробную информацию и расспросил дорогу, так как я здесь впервые. Это обошлось еще в один лат в виде водки, влитой в глотку старого болтуна, раньше работавшего у Пригов дворником (из этого факта я заключил, что домишко-то, видать, ничего). Выброшенные деньги: старушки мне и так все рассказали, и даже больше.

Теперь предстояло ненароком встретить Карлину. Ах ты, черт! Какая нужда может в морозный будний день выгнать из дому девушку, которая к тому же еще и в трауре? Спозаранку за молоком? Но в этих маленьких городишках у всех во дворе сарайчики, где жуют и мычат собственные коровы. За хлебом? По субботам сами пекут на неделю вперед. За каустиком или сахаром? Их закупают пудами. На почту? Вся родня живет в Айнажи, писать некому; газету можно одолжить у соседей. В гости к тетушке? Эти тетки сами снуют вокруг без надобности. В общем, проклятые провинциалы могут безвылазно торчать дома целый месяц, а если Карлина просидит хотя бы неделю, я вылечу в трубу.

Положившись на счастливый случай, я заступил на пост вблизи ее дома по дороге к центру города. Под жутким ветром меня всего засыпало порошей. Пригов дом стоит на открытом месте, пальтишко у меня худое, котелок хотя и придает солидности, но уши мерзнут безбожно. Так я простоял на голодный желудок четыре часа и замерз как собака, ко всему опасаясь, не повредит ли эта вахта моему здоровью. А ну как обморожение? Что тогда? За мной уже следили из окон окрестные обыватели, и не зайдя я в сапожную мастерскую по соседству, якобы с крупным заказом на высокие сапоги, надо мной, верно, произдевались бы влады.

Несколько раз какие-то фигурки выныривали из дома Приги, но это вечно оказывались чужие старушенции. Наконец, уже в сумерках, оттуда показался человек в шароварах и с лыжами. Только когда этот некто утвердился на лыжах и заскользил по снежному насту в сторону, противоположную городу, я смекнул, что это женщина. Лыжница Карлина! Что-то новенькое. Никак пропиталась современным духом до такой степени, что не только носит брючный костюм, но и позволяет себе другие вольности?! Времени на размышления не было,



засеменил следом. Иначе вернется затемно, а во тьме вряд ли так просто удастся восстановить знакомство. На лыжах она ходит, слава Богу, еле-еле, и я догнал ее через два квартала. Перевел дух и вымолвил:

«Ах ты, Господи, Карли . . . кхе, кхе, мадемуазель Прига! Сколько лет, сколько зим! Не узнаете Мартина Тюрзена из реальной гимназии? Сколько воды утекло! Кажется, еще вчера мы с вами бегали рядышком по коридорам любимой школы. Дайте же на вас взглянуть. Ничуть не изменились, все та же, и глаза — те же добрые, ласковые глаза! Но почему вы такая грустная?»

Так, мол, и так.

«Ах ты, горе какое! Ах, беда! Примите самые искренние соболезнования. Значит, мы оба с вами сироты. Ах, жизнь ты, жизнь! Кружит нас, как хлопья в метель, ни опоры, ни дружеской руки . . .»

Стали болтать, припоминать то да се, она на лыжах по гужевому тракту, я рядышком по пешеходной тропинке. Сварочная мастерская, понимаешь, у них за городом, возле порта, туда она и направлялась. Обозрели. Ничего, мастер и двое подмастерьев. Жестяные изделия. Фрезы по металлу. Нефтяной моторчик. Вернулись назад, но она, чертовка, меня в дом не пригласила. Поди угадай, то ли не доверяет, то ли робеет? Я в тот день так замерз и оголодал, что сожрал обед на целых два лата. Безрассудство полное! В общем, с ходу ухнул почти четвертую часть распорядительного капитала. Здесь в гостинице в долг не отпускают.

Назавтра, уже зная маршрут, я запросто ее встретил. В этот раз, как-никак, а чайку мы с ней попили. Знаешь, дома она куда храбрей, чем в школе, и не кажется такой уж душой. Говорили исключительно о вещах серьезных и основательных. На третий, нет, на четвертый день я признался, что еще за партой влюбился в нее с первого взгляда и потом тихо страдал в одиночку.

«Хе-хе, — сказал я, иронически усмехаясь, так, словно у меня никаких шансов и тогда не было, а теперь тем более нету, — смешон бывает человек, который не может совладать со своими дурацкими чувствами . . . я прятал их в самой глубине души, под маской суровости, и чтобы никто не догадался, я . . . хе . . . всячески вас дразнил. Только вас. Вы не замечали? Других — нет, а вас — да. Но сердце мое обливалось кровью . . . Эх . . .» — Я тяжело вздохнул, руки как бы сами собой упали на колени, а голова на грудь. Она подвинула ко мне поближе вазочку с вареньем.

Потом мы обсудили красоту бескорыстной дружбы, и как хорошо, когда есть кому довериться и на кого положиться, и как, в сущности, одинок человек. И вся его жизнь — такая трагедия. Голым приходит он в этот мир, голым и уходит, горстка праха, оставляя все свои сбережения и все суетное за порогом. И есть только одна радость, одна прелесть, одна вещь в жизни, достойная человека, — это те редкие мгновения, когда двое, он и она, как бедные замерзшие воробышки, доверчиво прижавшись друг к другу бочком, забиваются в какой-нибудь угол и тихо смотрят, как на дворе бушует метель и завывает буря. Как я не уронил слезу, не знаю — при воспоминании о своем дежурстве на морозе в тот первый день мне так жалко себя стало, что в случае необходимости я мог бы без труда наполнить слезами целую пахталку.

«Но воробышкам потому тепло под стрехой, — сказал я, — что они нежно греют друг друга, и эти мгновения дорогого стоят, это чудные, это святые мгновения».

И схватив Карлину Пригу за руку, я назвал ее бедной сироткой и воровышкой, напомнил про ее милую матушку, и она плакала у меня на груди навзрыд.

Самый трудный барьер был взят, и я без промедления приступил к делу — времени в обрез, а денег и того меньше. Пришлось соврать ей, что в Риге я неплохо зарабатываю на посреднических сделках и в Айнажи прибыл только для того, чтобы разыскать в метрических книгах сведения о своих предках, которые подались отсюда в Малиену. И тут однажды, когда я уже по обыкновению задержался у Карлины подольше, в дом вломился какой-то верзила, изрыгающий с порога страшные проклятья. Карлинин брат, Ионас Прига, обыскавшись работы в Риге, вернулся в Айнажи и целый день шастал по кабакам. Он такой же непомерно громадный, как она крохотулечка, такой же тощий, как она пухленькая, и такой же хвостун, как она скромница. В тот раз мне едва удалось от него улизнуть, проскочив в кухню, — было бы величайшей глупостью сразу показываться ему на глаза.

Опасения были не напрасными: сестра не смела ему перечить и безропотно сносила всю его брань и выходки.

На другое утро я отыскал грозного братца в рыбацком трактире, где он, нахохлившись как филин, опохмелялся в темном углу. Голова у него замечательна тем, что большую часть лица занимает короб нижней челюсти, раздвигающийся до ушей. Щеки, от глазных щелок до низу, огромные, но пространства эти голые, — узкая полоска растительности окаймляет только верхнюю губу и выступ подбородка, так что штурман как две капли воды похож на быка со вделанным в ноздри кольцом. Я подошел к стойке и зычно крикнул:

«Кабатчик! Скотч-виски с содовой!»

Такого зелья в захудалой забегаловке, понятно, не было, но зато Микелис Прига аж подскочил в своем углу:

«Что! С каких это пор сухопутные акулы стали лакать виски?»

«Задний ход! — отрубил я. — Не каждый кто в лампасах — генерал, не всяк в штормовке — моряк».

«*Vu Jove!*!»\* — заорал Прига, треснув кулаком по столу так, что его пустая полштофка сделала в воздухе кульбит. — Этадохлая камбала будет мне бз . . . ть, что он морской волк! Одного этого горшка на башке достаточно, чтобы раскусить субчика. Портовая крыса, вот ты кто. Амбарная плесень. Селедочный рассол — вот и вся твоя соленая водичка. Мочалка!»

«Не лезь в бутылку, коли жопа толстая, и не писай против ветра, — наставительно сказал я. — Иная амбарная крыса понюхала пороху, а каботажное трепло — это еще неизвестно».

«Каботажник? Это я — каботажник?!» Нижняя челюсть раздвинулась, как ковш землечерпалки. Вскочив с места, моряк ударил себя в широкую, как паром, грудь ладонью, смахивающей на хлебную лопату, да с такой силой, что поднял целое облако пыли.

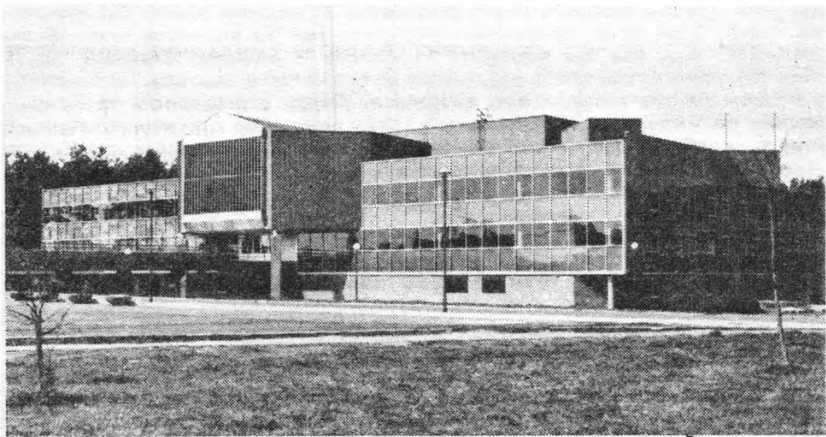
«Назови мне порт, в котором я не бывал! Назови пролив, которым я не прошел! Салотрест вонючий, жирный морж, слепой крот, а ну живо назови, или я сейчас сотру твою похабную харю в горчичный порошок, я из тебя битки с томатом сделаю!»

(Продолжение на стр. 33)

\* Клянусь Юпитером! (англ.)

Эдгарс СКУЛТЕ

## «СЕРЕБРЯНАЯ ТЕНЬ» ДЛЯ ГЕНСЕКА



... При слове «культура» перед глазами всплывает целый рой образов — картины, статуи, книги, фонтаны... Но только ли этим исчерпывается понятие культуры! Ведь сказал же один французский ученый, что дорожке автографов Наполеона для него была бы записная книжка домохозяйки времен Французской революции, из которой было бы ясно, сколько стоил пучок спаржи и починка сабо, что люди носили, как обставляли свои квартиры. И так же как по косточке ископаемого животного Кювье мог восстановить его скелет, мы сегодня, видя, в каких авто и лимузинах ездили наши дедушки, можем представить себе, что они любили, что предпочитали. Материальная культура...

Об этом думаешь, входя в Рижский автомузей, который сам по себе представляет удивительное зрелище. Между однообразными многоэтажными домами-новостройками Межциемса и гоночной трассой Бикерниекс — здание совершенно нетрадиционной формы, синего цвета с посеребренным фасадом, который своей формой напоминает огромный радиатор автомашины «роллс-ройс». Так выглядит Рижский автомузей.

Начало ему было положено достаточно курьезной историей. В 1975 году московский завод ЗИЛ обратился к президенту республиканского Клуба антикварных автомобилей [далее КАА] Виктору Кулбергсу. Его вниманию была предложена некая автомашинка, которая со времен второй мировой войны ржавела на складе предприятия и в данный момент предназначалась для отправки в металлолом. Это была гоночная 16-цилиндровая машина

немецкого производства, выпущенная в 1938 году, — «Ауто-унион». В тот же самый день за символическую плату в один рубль машина стала собственностью КАА. «Ауто-унион» был одним из трех легендарных гоночных автомобилей этой марки, которые сохранились до наших дней...

Через несколько лет в Ригу с деловым предложением прибыл богатый коллекционер автомобилей из Америки. Его предложение клубу заключалось в следующем: я вам строю здание музея стоимостью в три миллиона долларов, а вы передаете мне «Ауто-унион». Идея эта отнюдь не вызвала восторга у «антикваров», но в тот момент она была единственной возможностью поместить эту, уже достаточно ценную коллекцию под крышу.

Таким образом, 22 апреля 1989 года в Бикерниехи открылся первый в Союзе автомوزهи, и, как бы это ни показалось странным, почетное место в нем занимал тот самый знаменитый гоночный автомобиль «Ауто-унион». Да, и так бывает — и волки сыты, и овцы целы. Средства на строительство музея нашлись в республике, а «Ауто-унион» сыграл важную роль детонатора, который взрывным образом ускорил решение проблемы.

Надо добавить, что эта история — лишь фрагмент из красочной летописи музея, который никогда не появился бы на свет, если бы не существование Клуба антикварных автомобилей. Если бы кто-нибудь взялся писать историю музея и каждого из его экспонатов, то издание заняло бы несколько томов. Один из интереснейших рассказов был посвящен автомобилю ЗИЛ-115С, или, как его называют посетители, — «машине Сталина». Да, в этом лимузине в свое время действительно ездил «отец народов», но машиной в полном смысле слова назвать ее трудно. Скорее это крепость на колесах. Корпус ее изготовлен из закаленной стали, окна — из пуленепробиваемого стекла, а общий вес составляет семь [!] тонн. И рассеянные посетители музея нередко отшатываются, подойдя к ней, — в салоне сидит сам Сталин... Слава богу — лишь восковая фигура, которую мастерски изваяли Э. Гринберга, Л. Улмаие и О. Брежгис.

Рядом со сталинским лимузином — еще одна машина из кремлевского гаража. Изящный роллс-ройс «Серебряная тень» потерпел аварию, но неудачливый шофер по-прежнему, окаменев, сидит на своем месте. Это Леонид Брежнев. Вождение машин было слабостью Генерального секретаря, и аварию он потерпел в 1980 году в Москве. В Ригу эта машина попала после того, как КАА за 3300 рублей откупил ее в гараже Кремля.

Если уж зашла речь о восковых фигурах, то в автомузее кроме Сталина и Брежнева можно встретить и двойника Максима Горького, который органически komponуется с некогда принадлежавшей писателю машиной выпуска 1934 года «Линкольн» KB У-12.

Не стоит думать, что коллекция Рижского автомوزهя состоит только из машин знаменитых личностей. Сегодня в экспозиции представлены 51 автомашина, 42 мотоцикла, 17 велосипедов и две модели самолетов, но их число все время меняется. У музея широкие связи с аналогичными коллекциями во всем мире, что способствует смене экспозиции. Сегодня на стендах можно увидеть гоночную машину формулы-1 «Макларен», принадлежавшую Западно-берлинскому музею связи и техники, а также «кадиллак де Вилле» 1961 года, размалеванный типичными «цветами рок-н-ролла».

Заметное место в экспозиции занимает автомашина «форд-вайрог» и «форд-вайрог «Юниор де Люкс», выпущенные до войны в Латвии, а также модель самолета ВЭФ-1-12, которая также выпускалась в Латвии до 1940 года. Эти экспонаты убедительно свидетельствуют о высоком техническом уровне производства в Латвии 30-х годов.

Впрочем, хватит о музейных экспонатах. Наверное, в самом деле лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вы будете желанными гостями в Рижском автомузее, но в заключение хочу передать вам слова его директора Виктора Кулбергса. Если у вас есть какие-то материалы, имеющие отношение к старой технике, или же вы знаете местонахождение какого-то древнего средства передвижения, напишите, пожалуйста, по адресу: Латвия, 226070, Рига, ул. С. Эйзенштейна, 6, Рижский автомوزهи. Тел. 537730.

Он подошел ко мне вплотную и выпрямился во весь свой огромный рост, так что я только одним глазком мог заглянуть в нагрудный карман его моряцкой рубы и увидеть, что он нашпигован пачками зарубежных сигарет. Штурман потрясал над головой красными, громадными, как паровой молот, костлявыми кулачками, думаю, достаточно было одного удара, чтобы сквозь прогнувшийся пол вогнать меня вместе с буфетной стойкой в землю.

«Что болтаешься на воде, как дохлая рыба!» — крикнул я, собравшись с последними силами.

Прига набылся, глаза его налились кровью.

Медленно и даже церемонно он выставил вперед — сначала от плеча до локтя, потом от локтя до запястья и наконец целиком — свои немислимые ручки и ухватился за поля моего головного убора. Но в тот момент, когда он уже собрался со всей злостью надвинуть мне котелок на глаза, я завопил:

«Кабатчик! Чарку английской горькой штурману дальнего плаванья!» И кивнул в сторону Приги.

«Смотри-ка, — сказал он, отступив на полшага. — Может, ты и вправду наглотался морской воды. Нет, браток, небось в трюме торчал или у капитана под боком ошивался».

«Мимо цели. Я честный кочегар». В моем признании не было ни капли лжи, так как еще пару недель назад я шуровал в топках молокозавода.

«Ах, из этих чертей! Получил работенку на берегу и сразу пузом вперед. Ладно, на пять, черная душа. Будь!»

И он залпом осушил стакан английской горькой, унеся в свою утробу один лат и шестьдесят сантимов.

Но лед тронулся. Штурман выставил от себя водочную настойку. Я ответил бутылкой пива, но он тут же меня переплюнул, заказав еще одиннадцать.

Несмотря на свое богатырское телосложение, Прига довольно быстро косел, так как пары предыдущего загула никогда не успевали целиком из него выветриться.

Я довольно туго поддерживал беседу о живодерах-владельцах пароходных компаний, эксплуататорах-капитанах, воруях-поварах и глистах-стюартах, равно как и о разведении паров, загрузке шлага и навигации, и наш моряк опять что-то заподозрил, но как только мы перешли к разгрузке, кабацким загулам, погромам и потасовкам, доверие ко мне было полностью восстановлено. Я поведал ему про всякие приемы борьбы, которых, как ты знаешь, мне известно до черта. Многие из них были для него в новинку, и на радостях он решил испробовать их на мне. Не приведи Господь очутиться в его железных клещах, никому этой доли не пожелаю, хотя он и был уверен, что борется понарошку и щадя противника. Напоследок он выхватил из-за пазухи обрубок чалки, толщиной с руку, на конце ее торчал этакий ершик, похожий на цветок астры. Взмахнув этим довольно странным приспособлением, он воскликнул: «Вот оружие латышских моряков, и его знают и боятся как огня во всех тавернах Данцига, Роттердама и Антверпена! С этой штуковиной и парой ребят, прикрывающих тыл, я разметаю любой кабак, пускай там полундра с девяти крейсеров засядет. Сначала делаем так, — он ловко просвистел у меня под носом метелкой заостренных проволочек, — а если они еще не готовы, тогда так», — и со всей силой вогнал эту ржавую астру в стол, выбив отверстие шириной в два пальца.

Потом мы дружно спели:

«В Буэнос-Айресе на пляже, где дуют дикие ветра . . .» —  
и когда дошли до заключительного куплета:

«А по морям всю жизнь плавать,  
Учтите, может не любой,  
Всем морякам поем мы славу,  
И каждый мореход — герой», —

Ионас Прига, тронутый до слез, обнял меня, облюбявил и зашептал на ухо:

«Старый козел, давай к нам! Я тебя научу жить по дешевке. Секрет моряков дальнего плавания. Что снашивается быстрее всего? Что приходится покупать чаще всего? Не догадываешься? Ну, ты и барахло, братец! (Он опять орал во всю глотку.) Носки! Бляха-муха, носки! А глянь сюда», — и он завернул до колен широкие брюки-клеш. От удивления я чуть не сверзился со стула: на нем были женские чулки. «Вот что надо носить! В ту же цену, а пятка сотрется — отрежешь. Спусти пониже и завяжи впереди узлом. И носи на здоровье! Два месяца в одной паре хожу. Два месяца! Сообразил, какие деньги экономлю?»

Под занавес он напился в стельку и едва ворочал языком.

«Теперь, паря, смотри, показывать буду, как танцуют в кабаках Малаги . . . Спэниш данс — испанский танец».

Он вышел на середину, скособочившись, принял странную позу и застыл, словно колодезный журавль, кудельки взлохмаченных волос торчали, как перья вороньего гнезда. Пристукнул разок-другой каблуком и снова замер. Постоял-постоял, сменил позу и опять выпялился, как чучело. Плясать не было сил. Помучившись с полчаса, шмякнулся на пол и уснул. Кабатчик велел отволочь его в «конторку», а счет, невзирая на мои протесты, представил мне. — Мол, потом между собой рассчитаетесь. Денежки растаяли до последнего сантиметра. Хорошо еще, можно было поесть у Карлины.

Хуже всего то, что и я захмелел изрядно. Штурман ревниво следил за тем, чтобы я себя не обижал и пил не меньше его самого. Растеревшись снегом, прополоскав рот, с помощью всяческих уловок и ухищрений приведя себя в должный вид, я наконец к вечеру смог отправиться к суженой. Именно в тот вечер она была в особом, меланхолическом настроении, льнула ко мне, но мог ли я к ней приблизиться, если от меня несло перегаром и губы пахли пивом. Только один раз, уже после того, как мы выпили не одну чашку чая, я осмелился, на сплошном вдохе, удостоить ее братского поцелуя в загривок. Слава Богу, как видишь, хватило и этого.

Наутро я решил освежить нашу со штурманом дружбу. Он встретил меня с восторгом, но повторилась прежняя незадача: моряк не знал меры, снова танцевал спэниш данс, свалился без чувств, и мне опять пришлось платить по счету. Заложив часы, я отправился к Карлине. Так-то. На третий день заложил узелок с бельем. В тот вечер мне не удалось скрыть от нее пивной запашок. Это ей круто не понравилось. С нее хватало пьянчужки-брата. В какой-то момент она сильно засомневалась во мне. Но я с таким пылом сетовал на внезапно нахлынувшее чувство одиночества в чужом краю, когда все беды и невзгоды сразу подступают к горлу и нет другого выхода, как выпить с горя полбутылочки пива, и ведь тут же пьянеешь с непривычки, — что ей волей-неволей пришлось смягчиться. И тут я решил воспользоваться выгодами своего положения — как бы что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Эх, была не была, чего уж там, пропадать так с музыкой — я признался ей в том, что приехал в Айнажи вовсе не ради

предков, а в тихой надежде встретить любовь своей юности. Изображая, что хмель — как-никак полбутылки — все больше ударяет мне в голову, я осмелел совсем и стал к ней приставать, и метод, ишь ты, оказался верным: навязчивость в сочетании с обещанием жениться действует неотразимо.

В тот же вечер мы с Карлиной достигли согласия по всем пунктам. А когда ночью приковылял домой и морской волк, конечно же опять под градусом, и, рыча, обнял меня как запропастившегося куда-то друга-приятеля, последние сомнения Карлины бесследно развеялись.

Ввиду специфики моей работы я попросил их поторопиться со свадьбой. Ведь если я сейчас уеду в Ригу, то мои многочисленные помощники, а также клиенты, которым я даю бесценные советы, по всей видимости надолго задержат меня в столице. Она разрешила мне остаться в Айнажи, если захочу — навсегда. Едва я собрался телефонировать в Ригу, чтобы выслали денег, как она поспешила одолжить мне эту пустяковую сумму. Через 14 дней истекают обязательный шестинедельный траур и двухнедельный срок оглашения.

Как только со всеми формальностями будет покончено, а этого ждать недолго, недаром же я изучал юриспруденцию, я продам дом и сварочную мастерскую и перееду в Ригу. Покупателей уже подыскал. Осталось уговорить саму Карлину. Что не самое трудное во всем этом предприятии.

Будь здоров и, если сможешь, приезжай.

Твой Мартин

Р. С. Если приедешь, не забудь прихватить смокинг, пусть здешняя деревенщина видит, что я не лыком шит.

## 12

Боль утраты в сердце пряча,  
Я гляжу в окно печально.

Плудонис

Для одинокого служащего сочельник — самый ужасный день в году. Все друзья куда-то выехали или проводят время в кругу семьи, в гости не пойдешь, тревожить семейный интим считается неприличным. Всюду пустота; все зланные места, театры, кино, кабаки закрыты, нигде ничего не происходит. А дома усидеть в этот вечер просто невозможно. Так и кажется, что стены, медленно накренясь, выдвигают тебя из комнаты, подталкивают к дверям, и наконец ты скрываешься на улице, обдуваемый ледяным ветром, неприкаянный и лишний, как Иона, которого рыба-кит без всякого предупреждения выплюнула на чужой берег.

Именно такой праздничный вечер и выпал на долю Эпалта. К родителям в Дубулты он не поехал, а, подняв воротник пальто, слонялся по полупустынным улицам, не обращая внимания на падавшую с неба мелкую снежную крупу. Повсюду пахло хвоей, при виде навьюченных свертками запоздалых прохожих — отцов, матерей, щедрых дядюшек — невольно вспоминалось детство и елочка, зажигавшаяся в родительском доме; все это навевало жгучую меланхолию, и Эпалт, который хуже смерти ненавидел сантименты, насильно пытался проникнуться суровым, презрительным равнодушием к окружающему. Обойдя вдоль и поперек Старый город, он, как и можно было предположить, остановился перед домом номер два на Яковлевской улице. Фасадные окна не освещены. А что во дворе? Там светятся ярко. Заглянуть бы в них. Внезапно Эпалт вспомнил про башенную лестницу во



флигеле. Действительно, если забраться на пятый этаж, можно легко рассмотреть, что делается на третьем этаже противоположного дома, короткие занавески, прикрывающие окна до половины, не помеха. Николина с какой-то женщиной в поте лица трудится за столом. В подробностях, правда, не разглядишь, чем они там заняты, — слишком велико расстояние. Но у Эпалта дома есть великолепный прибор, еще со времен войны, когда отец его был офицером. И через десять минут Златоуст уже подкручивал окуляры, настраивая тяжелый цейсовский полевой бинокль. Теперь все рядом, рукой подать.

Это кухня. Николина и какая-то широкая толстая старуха возятся с рождественским печеньем. Нежные пальчики и крупные, высохшие, жилистые руки проворно управляют с большой деревянной скалкой, раскатывая тесто, жестяными формочками выдавливают из него плоские звездочки, полумесяцы, сердечки, рыбок, грибочки и укладывают их в ряд на широкий противень. Эпалт усмехнулся: он-то все готовился блистать в салонах, на зеркальном паркете, сживать на гобеленовой да атласной ткани, перебирать тома в сафьяновых обложках, улыбаясь дамам, держащим бокал шампанского или тарелочку с ломтиками ананаса, и вот теперь все бы отдал за то, чтобы усесться вон там, на той кухне, на обшарпанном табурете возле выложенного потрескавшимся кафелем очага. В салон он проник, пробраться же в кухню надежды не было.

В глаза бросилось удивительное сходство старой женщины и Николины. Те же пропорции и черты лица, но насколько одна изящная, нежная, чистая, настолько другая неуклюжая, корявая, огрубленная временем. Это ее мать, видно в молодости была вылитая дочь; но как же грациозная стрекозья фигурка, стройная как тростник, превратилась в это рыхлое, валкое, словно навозные вилы, создание? Невероятно. Эпалт смотрел в бинокль не отрываясь, пока не заболели глаза. Все-таки если приглядеться, заметно, что, когда Николина откидывает назад голову, на ее хрупкой и нежной шее, на самой холке, уже появляется маленькая складка. Шейка потому кажется высокой, что она пока еще тонкая; располнеет — и станет короткой, как у матери. Плечи и грудь Николины тоже отнюдь не слабого сложения, это только впечатление такое, а как раздобрееет — тут и окажется, что торс у нее тяжеловат, дородная, значит. Бедрa довольно узкие, ноги стройные. Ножки — единственная часть женского тела, которая почти не изменяется с годами или изменяется незначительно. В тридцать пять Николина делается энергичной тучной дамоу, пышногрудой, тонконогой. А изящные ручки? Нежные предплечья вот-вот станут округлыми. Лет через десять, кто знает, эти руки уже покажутся коротковатыми, а согнет их в локте — и на них вздуются мягкие, как гриб-дождевик, бицепсы.

Мать лицом очень светлая, как и Николина, но у дочери это матовый блеск слоновой кости, а у матери просто нездоровая бледность. Чудесные бледно-розовые губки Николины посинели, стали свинцово-серыми. Как непривычно видеть рядом в сущности одни и те же губы: цветущие, нежные, обольстительные — и мертвенные, увядшие. Волосы у матери седые, а у дочери такие светлые, что особой разницы незаметно. И лоб у Николины одинаковый с матерью: время избородит его морщинами, но форма останется прежней. Только глаза у них разные. Добрые, светлые, усталые, у матери они никогда не вспыхивают тем внезапным упрямым блеском, который так поражает и завораживает в дочери.

Помни о смерти! — мелькнуло у Эпалта. Сжалось сердце. Зачем лгать и гнаться за сокровищем, если и обретенное, оно будет увядать, выцветать и растворяться в твоих объятиях? Нет же, как раз наоборот. Каждое мгновение, каждый взгляд, улыбка преходящи, уникальны, неповторимы и тем дороже и неоценимее. И Эпалт решил, что будет чаще бывать подле нее, глядеть на нее, слушать ее, чтобы подольше вдыхать эту летучую прелесть и как можно дольше наслаждаться ускользающей красотой.

В кухню вбежали дети, очевидно отпрыски Августа Квесте: мальчонка занял облюбованное Эпалтом место на обшарпанном табурете возле очага, остальные, горя желанием помочь взрослым, путались у них под ногами; в кухне стало весело, как на празднике. Но женщины вскоре управились с работой, сняли фартуки. Представление окончено, актеры ушли, огни рампы погасли.

Эпалт задумчиво спускался вниз по темной витой лестнице. В груди щемило, комок подступил к горлу. Нестерпимая горечь. Возьми себя в руки. — Эпалт стал перепрыгивать через пять ступенек. Что такое? Черная фигурка вынырнула из-под лестницы и в одно мгновение скрылась из глаз. Чудной силуэт: накладные плечи, модное пальто, но ростом с мальчишку. Точь-в-точь Имка, — подумал Эпалт.

Выйдя на улицу, он оглянулся. Теперь ярко светились окна фасада. Но на них длинные гардины. Да и чересчур высоко. Не влезать же на фонарный столб . . .

И вновь одиночество уличного странника, бесцельно бродящего по вечернему городу. Наконец он решил почему-то заглянуть на вокзал. Спасительная толчея! Просторное помещение киша кишит народом, стоит неумолчный гул, но что за странная публика — ни одного городского жителя, сплошь сельчане, латгальцы, лесорубы, дровосеки с топорами, пилами и тяжелыми узлами, перекинутыми через плечо, — и все жаждут еще до первых рождественских праздников попасть домой. Бородатые, с кирпичными лицами, в надвинутых на лоб заячьих шапках, они нетерпеливо переминаются, переходят с места на место, возбужденно суетятся и выдыхают клубы белого пара.

Но все же это живые души. Эпалт протискивался между толстых овечьих полушубков, его пихали и толкали, и с каждым толчком куда-то улетучивалось сентиментальное настроение, с каждым пинком — меланхолия, и после часового пребывания в этой давке он отправился домой, спать — утомленный, но в добром расположении духа.

\*

Свое намерение как можно чаще бывать подле Николины Эпалт воплощал в жизнь по системе, как и все, за что он когда-либо брался. Почти ежедневно по дороге на службу или с работы домой он выгадывал несколько минут, чтобы попасться на пути Николине. Она удивлялась их столь частым встречам, но он объяснял, что это теперь его обычный маршрут в будни, недавно, мол, переехал на новую квартиру. Если встретить ее на улице не удавалось, Эпалт звонил, причем всегда в одно и то же время — в половине пятого. Периодически он выпускал свою газету, несчастливым приключениям безумного мавра Зебгугу не было конца, однако Николина в коротких уличных беседах об этом ни разу не упомянула. Она держалась все так же сухо и настороженно, и как ни пытался Эпалт растопить лед, сделаться частью ее жизни, — как горох об стенку. Николина, видать, великая

упрямица, но и он не намерен сдаваться. Мимолетные встречи и беседы хотя и не приводили ни к чему, но доставляли ему большое удовольствие. Боясь упустить хоть слово из сказанного Николиной, Эпалт завел дневник, отмечая в нем каждую ее фразу, каждый жест. Случайно этот дневник оказался у меня. Давайте заглянем в него. В сущности, эти заметки интересны только их автору. Ни проблеска мысли, ни блесков остроумия, ни образного блеска. Какие-то стенограммы. Но зато становится вполне очевидным, чем Эпалт занимался всю вторую половину зимы. Раскрываю наугад:

\* Январь

После работы встретил Н.

«Хорошая погода», — сказала она.

«Мерзкая погода. Для служащего лучше дождь и слякоть, легче убить день».

«Посмотрите, какой прелестный ньюфаундленд, — сказала она, помолчав. — Вот бы мне такого пса».

«Упаси Бог от этой чумы. Ест больше хозяина, разводит блох и ни на минуту нельзя оставить одного».

«Может, и он вам не нравится?» — произнесла она, указывая на голубка, вертевшегося у нас под ногами.

«Развращенная птица, в городе и без нее хватает дармоедов и попрошаек».

Она посмотрела на меня и всю дорогу молчала. Кто меня дернул за язык?

\* Февраль

С утра вышел навстречу Н. Вздохнул:

«Сегодня меня преследуют несчастья».

«Да?»

«Встал с левой ноги и ушиб на ней мизинец. Потом понял, что библиотечный каталог, который я составляю два месяца кряду, никуда не годится, работа насмарку. За завтраком мне стало ясно, что вся моя жизнь идет вкривь и вкось, пропащий я человек . . .»

«Ну-ну».

«И напоследок, что меня окончательно убил, — вышел в мокроступах, а на дворе сухо».

Николина смеялась. Опоздал на работу, дядя меня отругал.

Может, я ошибаюсь, но однажды мне показалось, что в толпе мелькнула фигура Имки.

\* Март

Позвонил Н.

«Кто спрашивает?»

«Безумный мавр Зегугу».

«Ага».

«Вы слышите этот странный звук?»

«Что-то стучит?»

«Мои зубы. От волнения я стучу ими о трубку; у меня к вам опять просьба».

Молчание. Я набрал в легкие побольше воздуха и выдохнул: «Вы не пойдете со мной на хоккей, будет отличная игра . . .»

«Не выхожу, простужена, горло заложено».

«Скажите, наконец, — простонал я, — продолжать мне в том же духе или не стоит?»

Серебристый смех. «Смело!» — говорит Николина и вешает трубку. Поди пойми.

\* Март

С утра шел следом за Н. Она оглянулась и подождала меня.

«У вас еще глазки сонные», — сказал я.

«А вот и не сонные».

«Бедное дитя. Бледненькая, как сыроежечка, хрупкая, как комариная ножка. Прокашляйтесь. Горлышко не болит?»

«Не болит».

«О, звуки медных труб. Сегодня же вечером, если вы опять не болеете, мы с вами пойдем . . .»

«Сегодня вечером я у Сургениеков».

«Оговорился, я хотел сказать — завтра вечером».

«Завтра вечером у мамы именины».

\* Апрель

Засек Н. выходящей из банка. По привычке ожидала увидеть меня, оглянулась, постояла немного и пошла. У меня свой трюк: неожиданно вынырнуть откуда-то, настичуть ее на пустынной улице. Удивилась, но виду не показала. Провожал ее почти до Яковлевской, дальше не пошел, не хотелось, чтобы она подумала, что я к ней липну.

«Дорогу сами найдете?»

«Без вас не найду. — Неожиданный ответ. Я смешался. Она засмеялась. — Не беспокойтесь, ступайте домой».

Что все это значит? Праздный каприз или нечто больше?

Опять приметил Имкиных ребят. Эти негодяи определено за мной шпионят.

\* Апрель

Позвонил Н.

«Вы сегодня вечером у Сургениеков?»

«Нет. Там сегодня прием. Мадемуазель Дагне жалуется, что вы совсем о ней забыли».

«Мне порой кажется, что я забыл обо всех и обо всем на свете».

«Это очень нелюбезно с вашей стороны. Может быть, вы так поступаете со всеми своими друзьями?»

«Надеюсь однажды обрести друга, с которым так поступать не придется. Где же вы будете вечером?»

«Дома. А вы у Сургениеков».

«Могу быть и в другом месте».

«Ступайте, куда званы».

«Мадемуазель Николина», — простонал я.

«Ну?»

«Комната, в которой телефон, выходит окнами на Яковлевскую?»

«Нет».

«И это тоже. А я хотел попросить вас подойти к окну».

«Нет, тут окна во двор».

Я часто думаю, что неправильного в моих действиях? Почему за целых четыре месяца я не продвинулся ни на шаг? Неужели я такой противный? Или глупый? У нее другой? О, Боже, а некоторые считают меня интриганом и совратителем девиц! Но ведь раньше мне везло всегда и во всем!

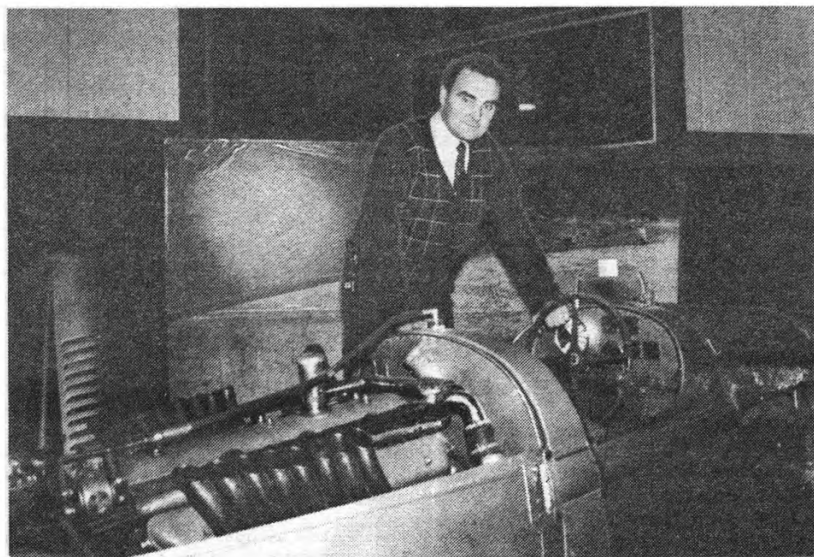
Стоит ли дальше перелистывать? Полагаю, достаточно. Все дни

похожи один на другой как две капли воды. Эпалт не признался бы ни за что на свете в писании подобных заметок, я даже представить не могу, что произошло бы, прочитай их кто ненароком. И вот — дневник напечатан! Высокочитимая публика теперь сама может убедиться, в каком опасном и нелепом положении оказывается автор, желающий угодить своим голубоглазым читательницам правдивым описанием жизни и происходящих событий. Что он теперь скажет Эпалту? Сумеет ли перед ним оправдаться? Не покинь, Господи, виноватого, пощади и оборони! Я бы не хотел быть в шкуре этого автора ни за какие сокровища Атлантиды, и даже за твердое место в штате государственного учреждения с окладом по десятой или девятой категории — тоже нет.

Время бежало. Близилась весна. А с нею бал, даваемый банком Сургениеков, на который Дагне загодя пригласила Эпалта. На этом балу надлежало предстать в лучшем свете, продемонстрировать все свои физические и духовные достоинства; быть элегантным, блестящим, остроумным, глубокомысленным, смелым, ловким, как акробат, как гуттаперчевый человек, как волшебник. Надо затмить всех и наконец-таки неопровержимо доказать Николине, что только он, он один ее достоин.

Разумеется, на такой бал немислимо являться без фрака. Взять напрокат? Приблизиться к Николине в костюме с чужого плеча?! Кому это в голову придет, идиотский абсурд! Эпалт подверг ревизии свой бюджет, подсчитал резервы: оставалось желать лучшего, но фрак, настоящий, сшитый по мерке и тысяче тысяч портновских правил, к сургениекскому балу должен быть готов во что бы то ни стало. А для человека с железной волей в мире нет преград.

Продолжение следует



Директор Рижского автомузея Виктор Кулбергс у машины «Ауто-унион»

## ДНЕВНИК В ЧЕТЫРЕХ ГЛАВАХ

Автор этого сочинения нет уже среди нас. Он беззащитен от нашей критики, но не может быть оскорблен и нашим невниманием.

Всего двадцать семь лет он прожил на свете, оставив после себя стихи, заметки, эссе, повесть «Отщепенец» и роман «Год Федора Степановича»<sup>1</sup>. Его грандиозные намерения и планы мало соответствовали накопленному им жизненному опыту. Опыта было мало. Решающим для его литературной работы было то, что в нем самом слились две характерные наследственные линии: один его дед был литератором-фольклористом, публицистом, поэтом; другой — активным деятелем нашей революции, ставшим жертвой репрессий конца тридцатых годов. И многие, многие родственники Д. А. Леонтьева оказались прямыми или косвенными жертвами этих же репрессий. Это определило и круг размышлений молодого литератора, и направление развития его личности.

Именно о таких людях, как герой Леонтьева, сказано было на страницах «Московских новостей»: «... У нас в стране в 1960—1970-х годах в разных слоях населения образовалось немало лишних людей, независимо от того, понимали они это свое качество или нет. От живого дела были отторгнуты многие полезные государству и обществу люди. Огромная человеческая энергия потеряна, растрочена. Это несчастье, пусть в малой степени, думаем, коснулось всех. Стоит вспомнить, что сегодня нет заметных литераторов моложе сорока лет... хотя в среднем, разумеется, количество талантов в каждом поколении одинаково. Речь идет об огромных личных и общественных потерях, связанных с пьянством, наркоманией, бездельем, ранней усталостью и другими «странностями». ... История, статистика — русская, мировая — свидетельствуют: тысячи, миллионы рассуждающих и не очень покорных безусловно лучше, чем то же число нерассуждающих, только исполняющих!»<sup>2</sup>

Дмитрий Леонтьев родился в 1955 году, в 1965-м узнал, что такое бронхиальная астма, в 1975-м был крещен. Учился музыке, работал концертмейстером, сочинял стихи, музыкальные пьесы, рисовал. В середине семидесятых сблизился с московским «диссидентским» православным кругом, с деятелями демократического движения, сопровождал родственников политзаключенных в лагерь, материально помогал отбывавшим заключение

<sup>1</sup> Роман появился в самиздате анонимно, без имени автора. В будущем редакция предполагает опубликовать этот роман-размышление.

<sup>2</sup> Натан Эйдельман. Почему я не пессимист. Заметки об интеллигенции. «Московские новости», 22 ноября 1987 г., с. 16.

или ссылку. Совершил ряд поездок по европейскому Северу, часто бывал под Ригой — в монастыре («Пустынька»).

Этот «Дневник в четырех главах» он закончил в 1978 году. В 1982 году — умер от приступа астмы при попустительстве медиков, которые могли и должны были помочь ему. Через восемь с половиной месяцев родился его сын, Дмитрий Дмитриевич.

На новом этапе нашей истории мы должны прежде всего восстановить справедливость по отношению к искаженному пониманию прошлого, то есть времени революции, двадцатых и тридцатых годов. Но нам неизбежно придется также разобраться в наследии «времени застоя» — в годах 60-х и 70-х. Без понимания характера и смысла этого «застоя» в мировоззрении, в жизни, особенно в жизни нравственной, — нет и не может быть пути к новому. Поэтому подлинные документы этих лет должны стать доступными для осмысления и оценки. Это и побуждает предложить «Дневник...» для опубликования.

О. Л.<sup>1</sup>

### Вступление. Наброски

**Т**ема противостояния власти — особая тема; в России, я думаю, не было ни одного писателя, мыслителя, деятеля, — в XIX веке и в XX веке, — которые бы не прошли через это. Это исконная тема русской интеллигенции. При советской власти она сделалась еще более важной, приобрела новые краски. Можно даже больше сказать: в 50—70-е годы она сделалась главной темой.

К восемнадцати годам у меня были такие представления, что всякий человек, сотрудничающий с властью сознательно, — был для меня не человеком, и всякий выступавший против нее вызывал мое восхищение. Я знал, что каждый — человек; знал «возлюбите врагов» — и принимал все это: подонков, уголовников, уличную пьянь — в них я мог увидеть людей, на них распространялось Евангелие, но чекисты, коммунисты — они были как бы вне всего, они не были людьми. Таково было мое глубочайшее чувство, и когда я случайно открыл, что «возлюбите врагов» — должно распространяться на всех, что именно чекистов я должен возлюбить, — это меня потрясло и раскрыло передо мной такие бездны, о которых я и не подозревал.

Первое событие общественной жизни, которое я пережил сознательно и хорошо помню — это суд над Синявским и Даниэлем. Мне тогда было десять лет. Помню чувство

восхищения, преклонение перед ними — они казались мне самыми благородными героями. . . . Помню возмущение, негодование, вызванное приговором. Так определился мой идеал: писатель, борющийся с несправедливостью. Два момента объединял он: творчество, искусство (это было для меня святое слово — высшее, что есть на земле) и — бестрашие перед насилием. Разумеется, что в конце концов моим героем и высшим авторитетом стал Солженицын. Здесь прибавился третий момент: годы лагерей.

Уже в восемь-девять лет (когда появились «Крохотки»?) я, освоив пишущую машинку, стал печатать запрещенную литературу. Сначала это были стихи, которые во множестве ходили в то время по рукам, а потом — «Крохотки» Солженицына, и далее уже — речи, документы, информации об арестах и проч. В то время каждый такой документ зачитывался до дыр, и всегда нужны были новые экземпляры. Мать взяла с меня слово, что я никогда не проговорюсь в школе — ведь за это будет отвечать она! И я с невероятными мучениями сдерживался, молчал, когда всего аж распирало от желания что-то высказать или над чем-то подшутить. Страх, что из-за меня могут прийти в наш дом, сделать обыск и арестовать маму и отца (а именно такими я представлял

<sup>1</sup> Предисловие и публикация Оксаны Тимофеевны Леонтьевой, матери Д. А. Леонтьева.

себе возможные последствия моей неосторожности) — этот страх выработал во мне выдержку и умение скрывать свои чувства до такой степени, что мое внешнее поведение и в других отношениях стало неким антиподом внутреннего содержания: юродство, актерство — вошли в привычку. Ведь все детство и отрочество — восемь лет школы — я находился в среде, которую презирал, ненавидел, в которой не имел ни одного единомышленника, никакой поддержки, — а я выступал против нее ежедневно, воевал всеми средствами, — но ни разу не выдал, что у меня есть союзники дома — мать и отчим. Да и они не были в полном смысле союзниками: если я приносил замечание в дневнике, полученное именно из-за моей жадности справедливости, — то больше всех меня ругала за него мать, не принимая никаких объяснений. Эта непоследовательность — ведь сама она говорила, что в школе учат лжи! — доставляла мне большие мучения.

Мои герои становились все те, кто подвергался преследованию за инакомыслие и чьи имена я слышал от взрослых: Синявский, Даниэль, Литвинов, Гинзбург, Марченко... я чуть не молился на них. Когда однажды пришел из школы и мать сказала мне, что тут пять минут назад был Павел Литвинов, — вон даже следы на полу еще не высохли, — я чуть не заплакал от отчаяния, что не застал его, от досады на себя, что медленно шел, — и с благоговением стал разыскивать на полу его следы. Всякий, кто имел отношение к самиздату, к диссидентам, — вызывал у меня благоговение, и я мечтал, что когда-нибудь и я войду в их круг и буду там таким же бесстрашным и благородным, и так же мужественно буду держать себя на суде, бросая правду в лицо своим судьям. Сколько раз про себя я произносил «последнее слово» перед приговором, который колебался от оправдания до расстрела...

Был у меня знакомый, который непосредственно был вхож в «тот круг», — Коля. Он был на десять лет старше меня, мы познакомились, когда мне было десять, ему двадцать, и знакомство это продолжалось десять лет. Все мое восхищение и благо-

говение перед «борцами за правду» сконцентрировалось на нем.

Он учился на философском факультете в университете. Оттуда его, как он объяснял — «за политику», взяли в армию. Просимулировав год, — год проведя на экспертизе в психушке, — он вышел и вернулся в университет. Был принят в аспирантуру, но вскоре исключен оттуда за ту же «политику». В тот же день, как он забирал свои документы, его избивали на улице, как он считал, гебисты. Драки с гебистами, как он рассказывал, происходили у него неоднократно, это подтверждали и другие: как он ночью приходил весь в крови. Все это в моих глазах создавало ореол героизма вокруг него. К тому же он был необычайно остроумен и артистичен, он смеялся над всеми и вся, издевался прямо в лицо. Мне это imponировало. Одно событие очень сильно повлияло на меня. У них дома был обыск по делу Вылегжанина, после чего его увели на допрос. Все это его жена, С., рассказала по телефону, и неясно было, вернулся ли он с допроса. Я думал, что его посадили, — наконец не выдержал и поехал к ней. Те две недели, что я думал что его посадили, — они заставили меня пережить многое: и свое бессилие, и могущественность злой воли, и все степени благородного гнева, и отчаяние от бесполезности всего этого. Мне было тогда семнадцать лет. Когда я приехал к С., то выяснилось, что его тогда отпустили в тот же день. Я предложил ему свои услуги, и он дал мне на хранение чемодан бумаги, на которой он печатал литературу. Я хранил его несколько лет, постепенно привозя ему очередную порцию... Я набрасывался на весь самиздат, который появлялся в доме. Странное это было явление, сейчас даже плохо понятное: никакая книга, ничто не могло сравниться по интересу с этими сухими информационными сообщениями, а тем более с произведениями Солженицына. Они вызывали ни с чем не сравнимый, сверхъестественный интерес, с каким не могла сравниться ни одна книга в мире. Так я читал Солженицына, так перечитал много лагерной литературы, «Хроники», речей и обращений — и все с внутренним трепетом и горением!



Высылка Солженицына взбудоражила меня так, что я потерял всякое самообладание: я чувствовал, что должен совершить какую-то акцию, что не имею права спокойно сидеть дома, что я должен кричать об этом всем . . . Я перепечатал «Жить не по лжи», написанное Солженицыным накануне высылки и явившееся для меня откровением, — я перепечатал это в десяти экземплярах, раздал своим ближайшим знакомым, полагая, что и для них это будет откровением, и на них, как на меня, произведет впечатление разорвавшейся бомбы. Мне казалось, что иначе быть не может, что эта сила заключена уже в самом тексте — и должна подействовать на всех, кто читает. Я взял экземпляр с собой в училище (я учился тогда на последнем курсе музыкального училища при консерватории) и прямо на лестнице стал читать его своим однокурсникам, разъясняя попутно то, что могло быть им непонятно, и рассказывая биографию Солженицына и обстоятельства его высылки. Я был уверен, что на них это произвело такое же впечатление, как и на меня, — только они внешне сдержанны — поэтому не издают восклицаний и проч. . . . Это была моя первая акция.

Тогда произошло одно недоразумение. Девочка с нашего курса, которой я давал это почитать с собой, — она, спеша уходить, положила мне экземпляр в карман пальто. Но пальто оказалось не мое, а одного вокалиста . . . Со дня на день я ждал обыска и допроса . . . Но история эта продолжения не имела.

Со своей бывшей женой я тоже познакомился на почве общего интереса к «политике» — и не смог ужиться в ее семье из-за той же «политики», — меня оскорбляло мещанское, равнодушное отношение их к диссидентам. «Политика» имела значение отнюдь не как «политика» — это был основной нравственный индикатор, он свидетельствовал обо всем остальном.

Я закончил обучение и стал самостоятельным. Я уже не был связан тем обязательством перед родителями, которое давал в детстве. Я хотел уже действовать от себя. Но семья моей жены сковывала меня по рукам и ногам: отец Наташи даже как-то потребовал, чтобы я не хранил

в доме ничего криминального (эти люди читали все — и «Архипелаг ГУЛАГ» в том числе, — но это никак не затрагивало их жизнь: они были преуспевающими советскими дельцами в искусстве (Б. К. был художником, работал на «Мосфильме»). Со всем я мог примириться, ужиться — но не с этим. Именно это обстоятельство более других морально облегчило мне мой поступок.

В сентябре состоялась первая выставка неофициальных художников. Мы пошли на нее вместе с Б. К. — и застали бульдозерный погром. Я обратил внимание именно на это — и проследил все до конца: и как картины возили на грузовике с землей, и как толпу разгоняли поливальными машинами. Б. К. же обратил внимание только на то, что те картины, которые он успел рассмотреть, — ниже по художественному уровню, чем «официальные», и после этого всячески честил подпольных художников как дилетантов и выскочек. Может, доля истины и была в этом, — но дело-то для меня заключалось в другом! На вторую выставку — в Измайлово — я сбежал из больницы, где лежал по направлению от военкомата — и встретил много знакомых: О. Б. . . . и бывших однокурсников.

Я много рассказывал им о Коле Бокове — и они заочно прониклись к нему антипатией, не любили, когда я к нему ходил, опасаясь, что меня возьмут на заметку. Коля был единственным моим знакомым из «того круга», а расширять круг своих знакомых я не имел возможности, поэтому занимался лишь чтением, самообразованием. Не случайно, что именно в ту пору я под влиянием Розанова пережил «консервативный» период. Вследствие этого внешне, на словах мы иногда совпадали с Б. К., даже на новый, 1975 год пили вместе «за консерватизм». Я не доказывал своей правоты, не отстаивал ее. Мне было легче согласиться на словах, но жить, жить так я уже органически не мог. Здесь дело было не только в политике: мещанский уклад, преуспеяние в официальной жизни, конформизм, бессмысленные сытые застоля и благополучие — все это было проявлением одного, невыносимого для меня свойства, все это было едино. Лишь моральный долг и жа-

лость к Н. удерживали меня там — удерживали, как пробку в бутылке с шампанским. И 1 марта 1975 года я выскочил оттуда, как пробка.

После этого начался новый период моей жизни, когда она стала зависеть только от моей воли. Точнее: после этого побега моя жизнь стала отражать мою личность. Поэтому можно сказать — с марта 1975 года началась моя жизнь.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот теперь пришла пора усвоить все происшедшее со мной минувшим годом — но как описать все это: волны ежедневной жизни так текучи, подвижны, — как поймать все радужные переливы в их брызгах? Описывать происшедшие события — все равно как велосипедной цепью повторять контуры лица. Чтобы приблизиться к натуре — надо писать роман. Но как писать роман о точных фактах, имеющих традиционно установленное единственное значение в наше время, и всякая «поэтизация» их, отход от документальности будут оскорблять нынешнее восприятие как умаление собственного значения фактов, разбавление их «субъективностью». Как писать, например, о событиях, имеющих «политическое», «моральное», и т. д. значение, — как писать о них «художественно»: не кощунством ли это покажется?

А может, именно этой «художественности» и недостает традиционному документализму — художественности как большей, чем документализм, непредвзятости: ведь если «субъективизм» преодолевается требованием точной фактичности в подобных описаниях, то не должна ли быть преодолена и «точная фактичность» — «духом истины» — поскольку ведь факт — не высшее, что есть в жизни, и не в фактах заключена истинность жизни: факты есть лишь ее омертвевшая внешняя оболочка.

Итак, не претендую на документальность, не претендую и на «объективность» — хотя к ней-то, может, более всего и стремлюсь.

Более всего здесь был бы уместен тон мемуаров. Правда, для мемуаров нужна большая дистанция, когда все описываемое стало уже прошлым, а здесь — всего год, и все еще

продолжается. Но дело в том, что я и тогда и в самые напряженные моменты не был близок ко всему происходящему, хотя и принимал в нем посильное участие. Это выглядит, наверное, величайшей нетактичностью перед моими друзьями, людьми, с которыми я все это переживал: то, в чем участвовали они всей душой, чем жили, болели, — для меня было не ближе любого другого сюжета внешней жизни. Может, своим внешним участием я искупал свою внутреннюю отдаленность и через это участие стал близок с другими участвующими — и постоянно испытываю перед ними чувство вины и неудобства, которое пытаюсь загладить предложением еще большего участия... Вот каково мое отношение к диссидентам. Кроме того, конечно, имеется и более глубокая связь — но внешне она никак не может выразиться. Это отношение — отдельный сюжет.

Я не хочу здесь давать портретов людей: я думаю, из каждого человека можно сделать и уничтожающую карикатуру, и благородного героя, все дело в том, как смотреть; я могу смотреть по-всякому, но не считаю себя вправе давать характеристики и не хотел, чтоб и читающий их формулировал. Для меня все люди — бесконечности, которые нельзя сравнивать между собой; и тем впечатлениям от них, которые возникают на поверхности, я не придаю значения — все это так, для колорита.

Говоря откровенно, я буду рассказывать только о себе — в смысле той истины, которая внутри нас, — и не могу же я рассказывать о ней внутри другого.

Вот некоторые основы моего метода, которые я сформулировал для того, чтобы избежать недоразумений, недопустимых, когда речь идет о конкретных людях.

\* \* \*

Я вырвался из семьи мосфильмовских художников — и весь мир раскинул передо мной, обдал свежим ветром свободы и простора. Дома мне жить не хотелось — я прожил первую неделю марта у Д. Климова, и потом — частенько гости у Коли, который снимал за городом, в

Софрино, дом, выполняя одновременно функции сторожа, и поэтому не платил за проживание. Дом был огромный, двухэтажный, но жили только внизу, так как невозможно было все протопить. Коля Боков жил там со своей женой Ирой, там же жил С. Б. — тогда еще без бороды. Он громко молился перед каждой едой и на ночь, к нему часто приезжали знакомые из семинарии (Загорск находился по той же дороге). И тогда они читали и распевали молитвы вместе.

— Ну вот, забунили, — морщился Коля, разливая вино по стаканам, и всегда прибавлял что-нибудь такое, от чего я начинал корчиться от смеха. Его юмор действовал на меня неизменно — я не встречал больше человека, который мог бы так еще действовать на меня. Сколько ни старался я сдерживаться — ничего не помогало: прыскал, давился, корчился — и наконец хохотал во весь голос, утирая слезы. Его импровизации про Гете, про Сталина и Ленина, просто рассказы из жизни, будничная речь — все было пронизано этой эссенцией, перед которой я был беззащитен. Я любил его всей душой — даже тогда, когда насквозь видел все его недостатки и осуждал их — а не мог не любить. Из всех друзей, пожалуй, он был единственным, к кому я испытывал такую привязанность. В детстве это была настоящая влюбленность и восхищение. Теперь восхищение прошло, но то чувство к нему, та внутренняя слабость к нему — осталась. И вот — я всячески предлагал ему свою помощь — и мечтал только, чтобы разрешение ему на выезд не приходило как можно дольше. Однако оно пришло очень скоро — и мне же пришлось везти ему это извещение. Все детство я мечтал стать его другом. И только эта мечта начала осуществляться — он уехал навсегда...

Отъезд был назначен на 25 апреля. С. Б. тем временем взялся за мое религиозное воспитание: он возил меня на службу в Загорск, в Пушкино к о. А. Меню, отвечал на многочисленные мои вопросы, снабжал религиозной литературой и всячески старался внедрить в меня дух истинного православия. Его ортодоксальная слепота и примитивность были столь очевидными, что на них легко было

смотреть сквозь пальцы, зато книги и люди, с которыми я через него встретился, переживание православной церкви — это было очень важно для меня. Коля над ним издевался, отношения их в то время были натянутыми, и я лавировал между ними как между долгом и удовольствием. Ира была очаровательна. Помню наши разговоры, которые мы вели на кухне, у печки — или же в холодной гостиной у камина в ожидании Коли — он приезжал поздно. С беспокойством взглядывала она на часы: вот пришла последняя электричка... Он уже должен прийти, что с ним? И в последний момент он все-таки приходил. От него пахло вином, он рассказывал, как уходил от слезки, что происходит у диссидентов и проч. Провожали его в квартире П. С. (Петра Старчика. — О. Л.). Я пришел туда по указанному адресу. Знакомых было мало — да и те появились лишь в последний месяц. Там Коля познакомил меня по моей просьбе с «выходом в» — это ведь была мечта моего детства — познакомиться с ними. Коля познакомил меня с М. Соковинным на предмет литературного общения. Мы с ним тогда разговорились, но больше не встречались, а потом я узнал, что он умер. Там же Коля представил меня С. Г., сказав ему: познакомься, это очень хороший человек. Я был польщен, записал координаты, которые затем зашифровал... 25 апреля я провожал их на аэродром. На том же самолете летел Андрей Григоренко с женой — Великановой — и обратно в автобусе мы ехали с моими будущими знакомыми — К. Великановой и пр. Состояние у меня было ужасное. В тот же вечер мы с С. Б. сели в рижский поезд и отправились в пустыньку к о. Тавриону. О. Таврион оказал на меня большое влияние — как и сама атмосфера монастыря. Я пережил православное богослужение в его подлинном, чистом виде — и это решающим образом подействовало на мою дальнейшую жизнь: я приблизился к тому, чтобы принять крещение. Личность о. Тавриона стала для меня олицетворением духа русского православия, я считал его святым.

В мае произошло знакомство и роман со студенткой из США, Джейн, в котором моя свобода добралась наконец до своих границ. Она плака-

ла, уезжая, и обещала обязательно приехать еще раз.

По приезде в Москву С. Б. привел меня к о. Дмитрию Дудко, который тогда лежал в гипсе после подстроенной ему КГБ автомобильной катастрофы. Уважение мое к нему заведомо было безграничным; он представлял собой сочетание духовности и гражданского пыла — того, что было для меня главным; кроме того — жертвы. После беседы со мной он предложил мне прочесть В. Лосско-го — и дал с собой номер БТ («Богословские труды»? — О. Л.). Я штудировал каждую фразу — и тут глаза мои открылись: все то духовное, что я переживал в себе и что противопоставлял всему остальному как главное, — поразительным образом совпадало с тем, что описывали святые отцы! То, что я узнал из самого себя — было тем же, что веками было известно церкви! Это совпадение, узнавание было так разительно, это был шок, это было невероятно — но это было так: то, что я, отвергая все авторитеты и все извне, сам познавал в себе — было тем же, о чем учила православная церковь! Нечто подобное было и раньше — когда я узнал себя в философии, когда открыл, что то, чем я живу, — интимнейшие глубины моей души, — это и есть то, чем занимается философия. Тогда мне было 14 лет. Теперь мне было 20 лет, и я увидел, что философия — лишь плоская гравюра по сравнению с живой, многомерной религией. Философия померкла. Высшей ступенью познания для меня стала теперь религия — и я после этого ополчился на философствование. Позже, когда мне было 23 года, нечто подобное я пережил с религией и антропософией. Таким образом, мою духовную эволюцию можно разделить на три периода: философский, религиозный, антропософский.

25 июня я принял Крещение на даче у о. Дмитрия, в Нахабино, по той же дороге, что и Новый Иерусалим. Крестным отцом моим был С. Б., крестной матушкой — Агафья Иосифовна, сестра жены Краснова-Левитина (?). Она же дала мне крест, принадлежащий Краснову-Левитину, который ему не позволили увезти с собой, как художественную

ценность. Я потерял его месяц назад, здесь, на Онежском озере . . .

Еще одна важная встреча произошла до Крещения. Я встретился с женой С. И. Солдатова, которая никогда в Москве не знала и приехала разыскивать мужа. Я позвонил С. Г. и договорился с ним. Он познакомил ее со всем московским диссидентским кругом, а через нее вошел в этот круг и я. Об этом я мечтал с детства, так вела меня судьба. Вместе с ней мы ходили в [институт] Сербского, в Лефортово [тюрьму]. Сергей Иванович [Солдатов] оказался там — мы собрали ему и передали передачу. Это было мое первое действительно нужное дело — я пребывал в состоянии блаженства. Отныне дальнейшая моя судьба была ясна.

После Крещения несколько месяцев я пребывал в блаженном состоянии. Жил в Новом Иерусалиме, за исключением недель, в которые совершал путешествие по Онеге. Сначала вместе с Д. Климовым, а потом — неделю — один. Навещал о. Дмитрия, беседуя с ним во время прогулок. Во время этих прогулок по лесу (ему только сняли гипс, и он ходил с палочкой) я рассказывал ему про свою семью, про свой путь и т. д. Он слушал с интересом. Каково же было мое разочарование, когда я нашел в его книге «Искатели жемчуга» такое клише, сделанное из моих рассказов, что после этого разочаровался не только в нем как в писателе, но и вообще в такого рода писаниях: во внешних описаниях судеб. Я увидел, как мало такие описания, даже если они фактически верны, имеют отношения к истинному положению дел. Это я пережил в сильной степени.

. . . Я полагал, что мое блаженство — мое прочное приобретение, что оно не покинет теперь меня никогда. Но оно оказалось милостью Благодати, которая потом ушла, оставив меня с одними моими силами. Вот как это произошло. В конце лета (кажется, это было 25 августа) мне приснился сон — подобных не было во всей моей жизни, настолько он был реален и обладал большой внушающей силой.

Я ходил по дачному участку в Новом Иерусалиме и слышал вдалеке звуки охоты — травили какого-то

сильного зверя. Я прислушивался с беспокойством — но звуки были далеко. Затем гон стал приближаться, и вдруг из-за деревьев показался прекрасный мощный олень: сила и мудрость исходили от него. Я сразу понял, кто он — упал на колени и, в благоговейном трепете, стал предлагать свою помощь: может, спрятать его здесь, накормить — ведь его же гонят! Пробегая мимо, он повернул ко мне свою величественную, мощную голову и произнес: встретимся в 25-м проходе... Однако я понял сразу, что предстоит расставание...

На следующее утро я должен был ехать в Москву. По дороге хотел заехать на дачу к о. Дмитрию: нарвал букет цветов в саду — и отправился. О. Дмитрия в Нахабине не оказалось. Я вернулся на станцию, и в расписании мне бросились в глаза цифры: 13<sup>13</sup>. Неужели я на ней поеду? Нет, еще много других. Но одну отменили, другую — я пропустил, и пришлось ехать на той. В метро — подошел поезд — на нем тоже стоял номер 13. Я что-то предчувствовал — по дороге заехал к Д. Климову — но его не было. Домой ехать не хотелось. Не прекращая про себя творить молитву Иисусову, я приехал домой и сел читать еп. Феофана. Это вернуло мне внутреннее спокойствие. Тут позвонил телефон — приехала Джейн.

Через неделю в кафе я объяснял ей: не могу я с тобой... Для меня главное — религия, дух. Я увлечен православной аскетикой... Она не понимала, почему это нельзя совмещать, и поняла, что я ее бросил — а она ведь с такими трудами и с такими затратами приехала сюда — и должна была здесь быть до января — таков контракт, заключенный ею! Мне было страшно жаль ее — но я ничего не мог поделать. Слово в отместку за это — произошел тот случай у консерватории...

Осенью я опять ездил к о. Тавриону.

В Москве произошло еще одно важное для меня событие: я получил отдельную квартиру, у меня было свое жилье! Но больше радости я чувствовал неудобство перед теми, кто не имел своего угла — а такими были почти все мои друзья.

Той же осенью я ездил в Кабаново, где начал служить о. Дмитрий, теперь — мой духовный отец — на первую исповедь, где, преодолевая стыд и непривычку к такого рода откровенности, я поведал о своей истории с Джейн, назвав ее, на вопрос, какой она веры, почему-то — язычницей (желая, видимо, этим сказать, что — никакой). Это особенно расстроило о. Дмитрия, и он укоризненно сказал мне: ты же христианин, как ты мог — с язычницей?.. В ту же ночь у него исповедовался Петров-Агатов, только что вышедший из лагеря после последнего семилетнего срока. Я незадолго перед этим читал о нем в ВРСХД, и его биография потрясла меня — в общей сложности 28 лет провел он за решеткой. Мы познакомились с ним, обменялись телефонами, я взялся помогать ему, много ездил по его делам и проч. и проч. Он угощал меня вином и говорил в мой адрес умеренные комплименты...

Ноябрь и декабрь прошли в устройстве квартиры и в попытке поймав ушедшую благодать. С этого времени (а точнее — с 20 сентября) — начинаются записи, послужившие основой для «Федора Степановича». Но тогда я об этом и не подумывал — я находился в той крайности, когда литература, писательство — представлялись «не высшим», а потому и не должным занятием. Высшее я видел в невидимом и не знаемом никем внутреннем духовном делании. Все «внешнее» перед этим — обесценивалось.

В ноябре я нашел вторую работу и отныне стал материально независимым. Эту работу случайно предложил мне один мой училищный приятель — буквально продал за бутылку пива, когда мы встретились с ним в консерватории, куда я пошел на концерт. Это была женская гимнастика Алексеевой, их еще называли «босоножками». Я должен был им аккомпанировать. Через некоторое время обнаружилось множество самых поразительных совпадений: там занималась покойная Сусанна Ильинична Раппопорт, там были Бруни, которых я видел в Шереметьево, туда ходила Ас. Великанова, Н. Бабицкая, Алена (Арманд), Л. М. — знакомые Ф. Розинера и П. Старчика, жена Ф. Розинера... В этом я усмотрел,

так сказать, перестраховку судьбы: если бы не через П. Старчика и С. Г. и Л. Г. — так через Алену и Л. М. — а все равно неизбежно пришел бы я в круг диссидентов, и тем, что два раза в неделю я должен был с ними видеться, — компенсировалась моя склонность к затворничеству и мизантропии: судьба обеспечивала выполнение мною моей общественной функции, учитывая особенности моего характера: ведь если меня не тормозит — я сам никуда не пойду. И вот случилось так, что дважды в неделю меня стали тормозить. Но это все была подготовка к последующим годам. А пока мне предстояло пережить еще одну историю, еще один кризис, без которого будущее не могло еще наступить.

Следствием этого явилось, что я принялся за работу — я не знал, что это будет, но уже смутно угадывал. Из этого импульса и родился «Федор Степанович». Для этой будущей работы необходимо было собрать все мои записки воедино и взглянуть заново на всю мою жизнь — это желание возникло в связи с попыткой самоубийства. Апрель и май прошли в этой работе, результатом которой явился том в 800 страниц, который я назвал «Листы». Это было все написанное мной за всю жизнь, расположенное в хронологическом порядке. Моя жизнь в тесном промежутке времени предстала перед моим внутренним взором вся. Переживание этого дало мне очень много. После этой работы я утратил интерес к философской и богословской литературе: она перестала мне что-либо давать, я был уже на большом расстоянии от «русского религиозного возрождения». В мае работа была закончена, и я впал в состояние жесточайшей депрессии, в котором пребывал весь июнь.

Страдания были невыносимыми, черными, безысходными — и они ведь продолжались целых полгода! Просветов становилось все меньше. И я обзавелся на это. В июле мы с С. Штуко и Сл. Скориковым поехали в Карелию и совершили путешествие на катамаране, купленном за 35 рублей с рук, — он стоял без надобности.

Это было сплошное пьянство, оз-

лобление, матерщина и вызов — судьбе эти стихиям... Кульминацией этого состояния явился пожар в палатке, после которого Слава ушел в академический отпуск и до января ходил перебинтованный. Они уехали на следующий день, а я, отлежавшись сутки, двинулся дальше один. Так я попал через неделю на Палеостров, где и познакомился с Павлом Андреевичем (в «Федоре Степановиче» — Павел Иванович). Мы с ним пропили остаток моих денег, после чего я уехал в Москву, оставив у него катамаран. В один из вечеров, после не помню какой уж бутылки, он вдруг спросил меня: а хочешь, я тебя застрелю? Я ответил: хочу. Мы собрались ехать на остров — да не было бензина. Он пошел к кому-то за бензином, да там и заснул. И на этот раз меня уберегла судьба...

Август я провел в Новом Иерусалиме и в конце, перед сентябрем, поехал к о. Тавриону. Там я впервые соборовался, там, наконец, оставило меня страдание, оттуда я вынес заряд силы, которая держала меня целый год. Но первые дни моего пребывания там были мучительными: я был близок к тому, чтобы сбежать, — и с большим трудом превозмогал себя. По приезде в Москву я огляделся, помедлил немного — и, кажется, 20 сентября сел за работу. Мечта всей моей предыдущей жизни осуществилась: я нашел наконец русло для своей литературной и философской энергии.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Мои «Листы» — все мои записи, письма, дневники, сочинения с самого начала (1966 г.), собранные мной в один том в хронологическом порядке, — кончатся августом 1976 года, когда я приехал из пустыньки от о. Тавриона, после первого в моей жизни соборования — и с этим мощным импульсом, ошутимо действовавшим во мне целый год, приступил к работе над «Федором Степановичем». Далее они уже не продолжались и не могли быть продолжены в том же духе, так как с той осени во мне произошла существенная перемена, выразившаяся также и в том, что перестали появляться записи сугубо личного, дневникового характе-

ра, из которых, по преимуществу, и состояли «Листы». С этих пор мои мысли отвлекались от собственно моей индивидуальности и приобретали известную самостоятельность, так что смогли теперь образовать собственное самостоятельное произведение, названное мной «Год Федора Степановича». В основу его был положен дневник с сентября 1975 по август 1976 года — последний раздел «Листов», тоже являющийся более или менее самостоятельным периодом моей жизни. Однако над ним вырос второй этап, свободный от его внутренней логики и связанности с моей личностью. Это — все, что идет «от автора», и тон всей третьей части. Сопоставление этих двух времен духовной эволюции: многотрудного и слепого пути личности — и свободного взгляда той же личности, но уже прошедшей этот путь, — на пройденное — и составляет суть «Федора Степановича». За многочисленными — с разных уровней и ситуаций, разной степени отчетливости и проясненности — взглядами на вечные духовные основы жизни — должны были прорисоваться сами эти основы с их непередаваемой одним моментом и одними определениями сложностью, и личностно, прошедшая долгий круг относительностей, раздвоенности и т. д. и изжив в этом пути все то, что является препятствием для верного видения, обретает наконец самое себя и оказывается у порога самих этих духовных основ, осознав, что весь предшествующий путь был лишь прелюдией, прологом к подлинной духовной жизни, к реальному духовному вершинию. Такой итог «Федора Степановича». Над осуществлением этого замысла (не сразу, конечно, принявшего свой окончательный вид), я и работал с сентября 1976 по октябрь 1977 года. О дальнейших путях «Федора Степановича» скажу в следующей главе, а сейчас буду писать только о том, что не вошло в «Федора Степановича», что шло параллельно с работой над ним и как бы в полусне — так как основные силы и сознание были направлены на «Федора Степановича». Именно это: как бы в полусне и помимо сознания свершающееся — и было основной особенностью моей жизни в эту зиму. Менее всего я проявил тогда собст-

венной воли и активности, и сейчас мне кажется, что все происшедшее тогда произошло роковым образом, потому что должно было произойти со мной — но как-то без меня, без моего участия, — и я, свободный внутренне, взирал как будто бы со стороны. И лишь через год, следующей осенью, был вовлечен в ту ситуацию и внутренне. Но об этом потом.

Сентябрь начался с того, что мне пришла повестка в военкомат. Я не пошел, но тут же пришла другая — и я понял, что это. Так и оказалось: с заискивающей вежливостью меня просили немного подождать. Потом с той же вежливостью («Вы докурите? Докуривайте, докуривайте, пожалуйста») пригласили в кабинет — и вышли. Мне навстречу встал молодой, но уже лысый человек с мягким блинным лицом и представился: я из Комитета государственной безопасности. Меня долго и безуспешно пытались завербовать в осведомители.

... Итак, в сентябре я принялся за работу, полный духом трудолюбия и трезвенности, всячески охраняя этот дух от суеты и требований внешней жизни. Никогда раньше не было у меня столь долго такого ровного рабочего и внутренне собранного состояния — я чувствовал даже некий избыток внутренней твердости, который мог бы обратиться в помощь другим. Однако, как всегда и бывает, жизнь стала бомбардировать с таким трудом давивший душевный покой и с таким рвением оберегаемые рабочие часы. Не проработал я и недели, как узнал, что Петра Старчика забрали в психушку. Я не был к нему особенно близок тогда и непосредственно не испытывал к нему особой привязанности. Наоборот, меня отталкивали его песни — я не мог находиться в комнате, где он пел, не знал, куда себя девать от неудобства за него, а ни с какой другой стороны я его еще не знал — только улавливал какую-то тенденцию в его мыслях, тоже скорее антипатичную мне. Кроме того, познакомившись с ним в апреле, на проводах Коли, то есть всего как пять месяцев, я виделся с ним считанные разы — и то случайно, и не искал встречи. Я воспринимал его наряду с С. Б. и др. Но вот он попал в психушку — и сразу стал моим ближним. С сожалением я оторвался

от своего письменного стола и поехал к нему с единой целью: помочь всем чем могу, и с единой мечтой: опять сесть за работу.

Саида, жена П. Старчика, совершенно разбитая, лежала под одеялом и не могла ничего делать: при одном взгляде на нее была видна степень ее страдания: она, словно лишенная источника жизненных сил, казалась, умирала. Первая помощь, которая была необходима, — дети. Их взял на себя М. У., я взял на себя Петины музыкальные занятия — дал ему несколько уроков и возил его в музыкальную школу, разговаривал с его учительницей, которая жаловалась, что он ничего не делает, и т. д. Итак, я сидел на краешке Саидиной кровати, пытался говорить что-то утешительное, тут дверь приоткрылась и в комнату заглянула А. (она брала к себе Марину). Я уже знал от П. Старчика, что они знакомы, и все же это было для меня неожиданно — неожиданно открывшаяся общность, которая мне, так сказать, навязывалась судьбой, — я же не старался знакомиться, несмотря на то, что испытывал к ней давно уже симпатию, и более чем просто симпатию, а чувство какого-то глубокого отношения к ней. Это была первая встреча с тех пор, как расстались тогда, 30 мая, на Киевской, где впервые-то и говорили друг с другом. Я думал, что на этом дело и кончится, — но узнав от П. Старчика, что он их знает, — ее и Л. М. — почувствовал, что это скорее похоже на начало. И вот — эта встреча, которая продолжала линию моего предчувствия. Она удивилась, мы вышли из комнаты, я старался что-то сказать, что я удостоверяю бы, что — «свой», но она очень быстро ушла. После этого прибавился энтузиазм в моей помощи семье П. Старчика — тем не менее я уверен, сама по себе помощь была абсолютно бескорыстной, исходила из глубины меня, как мои свободные действия. (Другое дело — много ли она дала на внешнем плане. Тут другие делали гораздо больше.)

По прошествии месяца со дня его ареста было решено устроить у него в квартире вечер, посвященный ему, — чтобы обратить внимание на его судьбу. Были приглашены корреспонденты, пришли Григоренки, Померанц (?) написал к тому време-

ни о нем статью, которую уже передавали по радио. Меня как музыканта попросили принять участие — я должен был аккомпанировать С. Демидову те песни, которые шли под фортепианный аккомпанемент. Мне дали кучу пленок, чтобы я делал выбор, — и пришлось их слушать, а потом и учить, подбирая аккомпанемент, репетировать. И в ходе этой работы я к ним привык! Более того, многие песни мне стали нравиться, некоторые я полюбил — они накрепко связались с той обстановкой и с теми людьми. Появились общие дела с А., которая тоже принимала участие в этом вечере. Запомнилось, как дождливым октябрьским вечером мы ходили с ней к Гинзбургам, разговаривая по дороге о летающих тарелках, черной магии и проч. (темы, конечно, шли от меня).

Потом я узнал, что оказывается, можно поехать к П. Старчику и даже поговорить через окно — и собрался. А. мне дала письмо, чтоб, если будет возможность, передать. Один я сел в поезд, доехал до Столбовой. По дороге я прочитал незапечатанное письмо, чтобы знать, что везу, на случай, если меня обыщут, или если будет возможность передать его через санитаров. Письмо меня взволновало — оно все было вокруг «моих» тем — все о том же, о «вечных» вопросах, о религии, Боге, природе и т. д. Были там и стихи, которые оказались мне очень близки. На автобусе я добрался от станции до больницы — готовый внутренне и к тому, что меня поймут, обыщут, избыщут, — такия рассказов я слышал много, а тогда еще совершенно не знал, на что имею право, а на что нет, не знал, как все может повернуться, и полагал, что эта поездка очень опасна — тем более, что это было мое первое сопркосновение с тюремно-психушечной системой, с которой был только насылан и начитан, — и самого страшного. Начинало темнеть, когда я тайком, стараясь не быть замеченным, пробрался к его отделению. Во дворике, огороженном со всех сторон, не было ни души. За зарешеченными окнами по длинному коридору ходили взад-вперед люди — кто не спеша, а кто — чуть не бегом. Через некоторое время открылась дверь и вышли двое больных, неся большой бак. Их сопровождал санитар. Когда они воз-



вращались с тем же баком, только уже чем-то наполненным, обратно, я подошел ближе и попросил санитара, — так, чтобы и они слышали, — позовите, пожалуйста, к окну Петра Старчика. Он кивнул, и вскоре в одном из окон я увидел знакомое лицо — в незнакомом одеянии и обритым наголо. (Как оказалось потом, мне повезло: попался хороший санитар. Обычно они не выполняли таких просьб.) Знаками Петр попросил меня подойти к другому окну, где был отбит уголок и можно было слышать друг друга. Тем не менее, слышно было плохо, приходилось кричать. Я передал какие-то новости и стал что-то говорить ему о том, что вот когда уже поздно — начинаешь жалеть, что прежде недостаточно было общения и чувствуешь это как свою вину (я думал, что ему сидеть еще годы — и неизвестно, каким он выйдет). Он отвечал, что все еще впереди, что еще не все потеряно. Тогда же я впервые — ему — сказал, что пишу книгу. — Большую? — Да. — Это хуже. . . . А я вот — тоже. Потом мы совершили передачу: я ему — письма, он мне — очередную часть своей книги, — таким образом: договорившись с теми, кто должен был выйти следующий раз (за ужином), он сделал мне знак. Я подошел к двери, и в тот момент, когда вышли больные, а санитар выйти еще не успел, — сунул конверты и получил то, что передал Петр, быстро запихнул за пазуху, отбежал несколько шагов и со скучающим видом, словно прогуливаясь, пошел дальше. Все прошло благополучно. Пока я прогуливался, ко мне подошел странный человек и стал жаловаться, как здесь ему плохо. Потом попросил у меня денег — я выгреб все, что было, оставив себе только на обратный путь, — и пошел дальше. Мы опять стали перекрикиваться с П. Старчиком. Уже стемнело, сзади меня во дворике тлел костер — жгли сухие листья, дул сильный ветер, раскачивая голые ветви, я продрог до костей. Затем Петра позвали на ужин, и я двинулся в обратный путь, ожидая, что меня в любой момент могут задержать и обыскать, оглядываясь — нет ли слежки — и стараясь держаться в темноте, не попадать в свет фар проезжавших машин. В поезде я почувствовал себя уверенней — слежки

не было видно, и, сев в самый безлюдный угол вагона, стал читать полученное от Петра, на что он сам дал мне санкцию. Это был дневник его больничной жизни с воспоминаниями и размышлениями, куда он переписывал и все стихи, на которые сочинил песни. Там я второй раз встретился с поэзией Л. М. (первый — стихотворение «Не спеши, не спеши, подходи осторожно», которое П. Старчик спел мне летом). Это было стихотворение «Погляди-ка, мой болезный . . . ». Оно произвело на меня особое впечатление — я увидел здесь многое близкое мне, а кроме того — то, чего у меня не было, что мне было незнакомо, — дети. Через ее взгляд я как бы прикоснулся к ее душе, почувствовал ее — мне показалось, что я ее уже хорошо знаю. Кроме того, понравились и сами стихи.

По приезде домой я стал молиться за него (Старчика) всей душой. Я почувствовал, что он — не тот, чем мне сначала показался, что наше знакомство еще продолжится. И во время молитвы вдруг почувствовал, что услышан, что так и будет, что ему осталось там быть недолго. И второй раз я ездил туда, взял у А. стеклорез, так как сказали, что отбитый угол заделали. Стеклорез не понадобился — просто кричали, и вся обстановка была нервной — за ним следили, и ему часто приходилось отходить от окна. Обменяться очередными конвертами нам все же удалось тем же способом. (Мне всегда везло в таких случаях.)

7 ноября меня пригласила к себе А., и я, несмотря на свою нелюбовь к большим собраниям, пошел — потому что к ней. Там была С. В. Калистратова, которая много лет назад была адвокатом на стороне моей матери, отсуживавшей у своих родителей право отъехать — о чем мы и вспомнили тут. За столом она рассказывала о недавнем избиении евреев. Александр Подрабинек рассказывал о том, как он, пользуясь белым халатом и своим удостоверением (он работал тогда санитаром на скорой помощи) проник в больницу к Петру Старчику после его задержания, но совершил оплошность — подал ему руку, чем и выдал себя. После чая с чебрецом и роскошными домашними тортами А., ко-

торая была в красивом до полу платье, стала показывать слайды. Полный ярких, красочных впечатлений, но вместе с тем с чувством неудовлетворенности от светской отдаленности хозяйки, трудности общения с еще мало знакомыми людьми и — вина, от которого успел совершенно отвыкнуть — с твердым решением больше никуда не ходить без дела — поехал домой.

Третий раз мне не довелось съездить к П. Старчику — стало известно, что его выпускают. 15 ноября, пробыв там два месяца, он вышел. Встречу организовали — сначала в узком кругу. Я успел выпить бокал вина за него — и поехал на свою работу, встретившись в дверях с А., которая только приехала. У меня было чувство исполненного долга — я чувствовал, что теперь вправе затвориться и продолжать свою работу, не участвуя во внешней жизни. Смутная тоска все же не оставляла меня, когда я думал об А., — и только во время работы она отходила на задний план, а поскольку я работал днями и ночами сплошь — то она там и оставалась, особенно меня не беспокоя — тревожа разве перед засыпанием невнятными образами, которые я тут же гнал прочь, считая, что мечтание — это грех. Однако «по делам» приходилось бывать у А., и на гимнастике я ее видел дважды в неделю — и радовался этим встречам. Как-то я принес ей журнальчик своего изготовления — целиком составленный из советских газет и журналов, над которым хохотали многие, но который я не всем решался показывать. А. смеялась до слез, просила оставить. Тогда я принес ей и второй выпуск, еще более смешной, — оба остались у нее, а я ушел. На следующий день на гимнастике ее не было. Я стал узнавать, что с ней, и узнал, что у нее умер отец. Я не знал, как быть: с одной стороны, я ведь ей был совсем чужой, с другой — ее горе было для меня непереносимо — я должен был прикоснуться к ней в этот момент, мне казалось, что я смогу помочь. Я поговорил с П. Старчиком, и он сказал, что лучше — пойти. Так я пошел на эти похороны — но подойти к ней не решился. И когда уже собрался уходить, она заметила: Дима, ты? Какими судьбами? — и обняла меня (а

я ожидал, что чуть ли меня не проклянут). И через несколько дней, отпросившись с работы пораньше, я приехал к ней. Открыл ее муж — а А. уже легла. Я хотел уйти, но она вышла. — Только недолго! — сказал он ей. (Накануне у нее П. Старчик присидел до рассвета.) Мы сидели на кухне, пили чай, говорили о душе, о бесмертии — и сейчас эти разговоры не казались неуместными, и мне с ней было легче говорить, чем обычно. — Странно, — думал я, вспоминая... Саиду и т. д. — мне легче общаться с людьми, когда у них горе — мне кажется, тогда-то мы и понимаем друг друга, тогда-то мой душевный строй и находит в них отклик. В обычной жизни мне гораздо труднее найти контакт — и не оставляет чувство непонятости и недосказанности. Уехал я с чувством светлого примирения, надеясь, что что-то подобное осталось и в ее душе. После этого я ее долго не видел.

5 декабря я впервые пошел на демонстрацию на Пушкинскую площадь. Я был поражен, увидев так много людей, не боящихся открыто выразить свое инакомыслие. В одном месте деревья и кусты ходили ходуном: там была какая-то потасовка. Ряд милиционеров и дружинников отделял это место от остальной толпы. Я ринулся прямо туда, проскользнул сквозь ментов и увидел такую картину: Андрей Дмитриевич, без шапки, тяжело дыша, и вокруг — кольцо штатских, напиравших на группу «своих», образовавших внутреннее кольцо вокруг Андрея Дмитриевича. По земле, у самых моих ног, катались двое. Один из них оказался А. Подрабинеком. Нас стали теснить, и мы пошли в таком же порядке: в середине Андрей Дмитриевич, вокруг него — кучка отбивающихся друзей, вокруг них — напирющее кольцо гебешников, а дальше — вся остальная толпа — человек 500. Так мы прошли до «Известий» — через ул. Горького — пока Андрей Дмитриевич не сел в машину и не уехал. Меня поразила эта открытость — вплоть до откровенных драк. В этот вечер все накопленное в душе за долгие годы получило неожиданную разрядку.

Вскоре после этого я, в доме Л. Миллер, устроил лекцию о Бахе — которая предназначалась специально

для А. — для ее утешения и приличного в ее ситуации развлечения. Это был первый раз, что я ее видел после той беседы — она чини-да не выходила. Я чертил схемы, играл, ставил пластинки — пытаюсь сделать наглядным, открыть неузыкантам духовный смысл баховских звучаний. Вышло не так, как я хотел, говорить было труднее, чем у П. Старчика, когда это получалось легко как импровизация. Но что-то, видимо, удалось передать: Л. подсе-ла прямо к пианино и не сводила с меня своих больших, черных, понимающих глаз. А. я не видел — она сидела сзади, забившись в угол, и я боялся смотреть на нее, чтобы не выдать свою заднюю мысль. Особенное впечатление произвела эта лекция на Л. — она дала мне машинописный том своих стихов. Я прочитал стихи с большим удовольствием, проникся их духом (он действовал на меня довольно гипнотически) — и потом целый вечер говорил ей о них и о том, что за ними. Она оказалась такой же, как и ее стихи, — от нее веяло тем же духом. Когда я уходил, она сказала мне, что никто так, как я, не понимал ее стихов, что наши души, верно, встречались где-то до рождения — так они близки и хорошо друг друга понимают. Я уехал окрыленный: каждый новый случай такого взаимопонимания я воспринимал как подтверждение истинности моего духовного чувства и сознания, моей концепции, согласно которой духовный мир — мир идей — един, но все его видят с разных сторон и с разной степенью отчетливости. Надо только примениться к особенностям видения собеседника, и станет возможным самое глубокое взаимопонимание. Так я и поступал, говоря с каждым на его языке, и — с каждым находил общий язык. Л. подарила мне экземпляр своих стихов, надписав: «Диме, в честь всех наших совпадений».

Осуществив свой замысел с баховской лекцией и проведив Люду Г., которая в то время у меня гостила, я собрался было вновь затвориться для работы — но тут произошло очередное событие: 25 декабря посадили в психушку В. Борисова. Несмотря на грипп, я поехал в Ленинград — из тех же чувств, из каких раньше ездил к П. Старчику. Свиде-

ния мне не дали под предлогом карантина — но передачу приняли. Я назвался двоюродным братом Володи, на что его врач ответил мне, что их уже приходило несколько, но тем не менее ответил на мои вопросы и даже принял записку для Володи, однако попросил вымарать конец, где я подписался «твой двоюродный брат Д. (говорят, у тебя их много развелось)». Пробыв в Ленинграде один день и не зайдя ни к кому из своих старых друзей по причине слезки, которую заметил еще в самолете, следующей же ночью я вернулся на поезде в Москву. Новый год я встречал у Л. М. Были кроме ее и родственников Бориса: П. Старчик с детьми, Ф. Розинер с женой и сыном. А. пришла только днем, когда я уже уходил. П. Старчик пел, дети бегали, верещали, елка была нарядной — я вспомнил детство, утром пошли гулять с Илюшей и П. Старчиком. Все было очень мило. Тогда же — или вскоре после этого — Л. М. дала мне прочесть «Дар» Набокова. Это впечатление перечеркнуло весь мой труд начиная с сентября. Потом — «К дальним берегам» («Другие берега». — О. Л.) — и к прежнему я уже не вернулся — немного от того осталось в 1 части «Федора Степановича». «Дар» всколыхнул мое детство, перепало всю мою память — во мне открылось много того, что годами лежало под пылью, забытое. Все это связывалось у меня с детьми Л. М., ее семьей и с ней самой.

Тем временем сгустились тучи вокруг Гинзбурга и Орлова. 2 февраля в «Литературной газете» появилась статья «Лжецы и фарисеи», подписанная Петровым-Агатовым! Это было потрясение! Правда, я с осени его не видел — избегал встречаться из-за внутренней антипатии, но расставались мы друзьями — и вдруг... Я стал звонить ему, но жена сказала, что он уехал к матери в Иркутск. Лишь через долгое время, когда уже появились и другие опусы того же рода, когда узнал про многое другое о нем, — я смог это переварить. На следующий же день я поехал к Гинзбургам. Алик был против всяких ответов и полемик с Петровым-Агатовым — я не кину камня в старого з/к, — сказал он. — Единственное, что бы я ему хотел сказать — это

то, что я и без «Литературной газеты» не забыл бы, как он делился со мной пайкой (Петров-Агатов в дни поста — среда и пятница — отдавал свою пайку. Для Алика же пост заключался в том, что он курил в эти дни). Придя вечером домой, я хотел позвонить куда-то, но телефон не работал. На следующий день он заработал — и я узнал, что Алика вечером арестовали. 4 февраля я ездил на пресс-конференцию к Людмиле Алексеевой по поводу ареста Гинзбурга, поставил, как всегда, свою подпись под письмом в его защиту. Там был Андрей Дмитриевич, переводил — Щаранский. Возвращался от нее я с А. Подрабинком, — чуть не уговорил его к себе обедать, — но у него были какие-то дела. Тут я вспомнил, что сегодня — день моего рождения. Он поздравил меня, и мы разъехались в разные стороны. Через неделю арестовали Орлова. Еще через месяц — Щаранского. С ними я не был знаком — видел только мельком.

В конце марта приехала на очередное свидание Люда Грюнберг — и я впервые поехал ее сопровождать в Мордовию, в 19-й лагерь (где отбывал свой шестилетний срок ее муж, С. И. Солдатов). Обратил из поселка Лесной меня вывезли на машине гебешники, учинив по дороге настоящий допрос. Вся поездка, однако, освежила меня и прибавила много новых впечатлений. И потом я туда всегда ездил с радостью, несмотря на то, что каждый раз получал предупреждение, чтобы больше там не появляться (об этом — подробнее). Той же зимой я ездил во Владимир. разыскивал заблуждающую Оксану Мешко, но когда переночевал у В. Некипелова в Камешково, то у меня сделался приступ астмы, О. Мешко я не разыскал и вернулся в Москву ни с чем, чем навлек на себя гнев Григоренко.

Приблизительно с апреля, ввиду больших перемен в первоначальном замысле, требовавших новых больших усилий, я решил отложить работу над «Федором Степановичем» до лета, когда освобожусь от работы. А. приехала в начале мая. Я пришел к ней с тюльпанами, встреча была очень радостной, и тут выяснилось, что в Новом Иерусалиме, в том же дачном поселке, где мы вот

уже 13-й год снимали дачу (значит, это 1977 год? — О. Л.), находится дача ее давних знакомых, к которым она вот уже лет десять, если не больше, ездит каждую весну и осень. И там же находится дача Великановых. Оказалось, что мы оба собирались туда в ближайшие выходные.

Приехал в Новый Иерусалим я поздно. Мне сказали, что приходила А. и просила зайти к ней. Оля, моя сестра по отцу, проводила меня, я вызвал А., и мы пошли к нам. По дороге я все говорил, что мне знаком здесь каждый клочок земли, что я с закрытыми глазами... однако мы немного заблудились в темноте. А. надо было возвращаться, и я пошел ее проводить. Тем временем взошла полная серебристая луна. Она будоражила меня, сводила с ума — но я и раньше решил все сказать А. и теперь думал, как начать, — мы ведь были совсем чужие, мы только что, в этот вечер перешли на «ты».

А. прочитала мне свое стихотворение — помню — легкие копыта, что нежно ранят... Эти копыта вошли в «Федора Степановича», в конце 2-й части. Идти было долго. Я все мялся, — сердце стучало, шумело в голове, — но я твердо решился сказать, потому что положение стало для меня невыносимым. Наконец я начал — что вот давно хотел сказать... Она меня перебила: — Чтобы не было недоразумений — я должна сказать: Л. мне все рассказала о вас. — Я был готов к этому и стал говорить о долгой любви инкогнито и проч. и проч., но что люблю я не Л., что люблю ее, с прошлой весны — тот момент, когда она проходила мимо меня — а я сидел за пианино — в белом пальто — есть ведь такое? И в таком платке, как газ... Она рассмеялась и сказала, что газовых платков у нее нет — ну не важно — и так на меня посмотрела — И что?.. Мы вышли тем временем на последнюю прямую к ее дому, и я решил (хотя я все уже сказал, но мне важно было сказать именно те слова) — что к моменту, как дойдем до калитки, я все скажу. — Видишь ли, я все-таки должен сказать прямо...

Несколькими днями позже, провожая ее после гимнастики, я опять начал прерванный тогда разговор. — Мне надо было удостовериться, что его смысл до нее дошел. Но из ее

реплик я понял, что она не хочет, чтобы я продолжал, — и я переменял тему, решив, что больше нельзя об этом говорить, что все уже ясно, что она дала понять мне свою волю, и нельзя быть занудой и вымогателем. Поэтому, лишь только кончилась работа, я исчез, жил в Новом Иерусалиме, но сидел за запертой калиткой — чтобы не ждать ее прихода. (А она, как потом выяснилось, приходила — и натыкалась на замок. Всегда у нас так!) Тоска по ней несколько раз уже начинала одолевать меня — но я побеждал ее молитвой и работой. Вскоре мне приснился сон: будто мы с А. сидим на скамеечке, на ноииерусалимском участке, под яблоней. И сквозь цветущие ветви на нас светит серебристая луна — мы утопаем в ее свете, она слепит нам глаза — и сами мы сделались полупрозрачными и увидели, что это должно быть так, что мы друг для друга. Сон этот я потом помнил всегда — он не тускнел в памяти.

И еще такой же полусон-полувидение на границе сна и бодрствования, которое я не забуду никогда: в каком-то пространстве — в космосе, где — во все стороны — простор и нет земли и неба — я вдруг увидел знакомых мне священников: о. Александра Меня, о. Дудко, других... Они все были связаны каким-то единым отношением к свету, струящемуся сверху: кто правее, кто выше, но все его в той или иной мере преломляли. Слово повинаясь какому-то зову, я поднял голову и увидел о. Тавриона — он был выше всех и через него солнечный свет проходил, не преломляясь. Я стал двигаться к нему. Дальше не помню — но осталось чувство, что о. Таврион должен мне что-то сообщить перед своей смертью, передать какую-то мудрость. Осуществление этого сна, я думал, произойдет в мою ближайшую поездку туда — я собирался ехать в конце лета, перед началом сезона... И этот сон почему-то был связан с луной — и часто потом представлялось лицо о. Тавриона, через которое светил лунный свет.

С июня до октября, за небольшими исключениями четыре месяца, я работал, пользуясь тем, что меня заменяли на официальной службе, и к октябрю «Федор Степанович» был почти закончен. Осталось только кое-

что подредактировать — и перепечатать. Никогда еще не было у меня такого длинного лета: июнь я был в Новом Иерусалиме, половину июля — в Таллинне у Людвиг Грюнберг, на несколько дней съездил на хутор, с середины июля до конца августа — опять в Новом Иерусалиме. Хозяева уехали, и я поселился на их террасе. Время было жаркое: утром я спал, а днем, вечером и ночью бродил босиком по окрестным лесам и полям, сочинял на ходу — до сих пор некоторые мысли в «Федоре Степановиче» связаны у меня с определенными поворотами дороги или каким-либо пейзажем. Потом съездил на пару дней в деревню, где дом у Димы Климова, в конце августа — начале сентября устроил себе десятидневный отдых — поехал с Сашей (вероятно, Шукой? — О. Л.) на катамаране. Оттуда приехал в Сортавалу к родителям в дом отдыха композиторов — в места моего отрочества, где я прожил до конца сентября, потом через Ленинград вернулся в Москву, съездил в пустыньку к о. Тавриону — и наконец прямо к работе, 3 октября, вернулся окончательно. И засел за доработку «Федора Степановича». Так я вступил в прошлую зиму, 1977/78 г., о которой речь пойдет в следующей главе.

Конечно, эта глава еще не написана. Я только зафиксировал для памяти ключевые моменты того года. Она и не может быть написана таким тоном — чтобы как-то схватить ее содержание, понадобился бы целый роман, который я и надеюсь рано или поздно написать. Вся эта история с Л. и А. не имеет никакого смысла, если не учитывать того особого отношения к этим двум женщинам, которые старше меня на 16 и 18 лет. И это отношение коренится в свою очередь в моем особом отношении к поколению моих родителей, в которое я проник через свою мать и через нее — полюбил. Здесь для меня многое свято, многое невозможно передать обычным повествованием. Через мать я питаю слабость к тому поколению. Через мать же оно имеет совершенно особое отношение к моему собственному детству. Мое детство ожило для меня снова после прочтения «Дара», который дала мне Л. М. Оно ожило и в ее детях, и в детях А. ... В Л. и особенно в А.

вновь ожила моя мать — их судьбы очень схожи. Через гимнастику — всплыло детство моей матери, столь дорогое для меня, которое я впитал из ее рассказов. Под влиянием того же «Дара» А. стала рассказывать о своем детстве — и о своем отце, на похороны которого я приходил, чтобы оказать ей поддержку. Диссидентство тоже восходит к молодости моих родителей, я эту линию продолжил, и она привела меня к А. и Л. Муж А. напомнил мне чем-то моего отца, и ее жизнь с ним — жизнь моей матери с отцом. Мать А. — другое уже поколение — очень схожее с моей бабушкой по матери... Всех связей и связей, переходов и совпадений невозможно перечислить. Так что оставлю эту историю лишь как опорные точки для памяти — для будущего романа, и перехожу к следующей главе.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

По приезду в Москву я через три дня отправился в пустыньку. Но в эти три дня произошло одно событие. Пьяный, в припадке бешенства, я разгромил свою квартиру и испытал острый приступ ненависти к Д. В., которого грозился убить топором. Подобные эксцессы случались и раньше, но тогда за ними всегда стояла какая-либо создаваемая причина: долго накапливаемое неудовлетворение, раздражение, страдание, внезапное прозрение на безвыходность чего-то, сильное разочарование, долгая депрессия и т. д. Здесь же такой причины не было — разве что возвращение в Москву после четырехмесячной спокойной, внутренне-гармоничной жизни... Этого было мало. Этот случай не укладывался в меня, я смотрел на него со стороны, всячески отделяя себя от него... Он не объяснялся предыдущим, но он объяснялся... будущим. Это был как бы эпилог ко всему последующему году. И состояние, которое у меня было тогда, — оно было господствующим состоянием всей зимы.

Я вернулся из пустыньки — причем поездка эта не принесла мне обновления и радости, как было раньше, и впрягая в ямку московских дел.

Первая встреча с А. разожгла то, что я все лето отодвигал на задний план. Помню, как я, ремонтируя пов-

режденное пианино, рассказывал ей о лете, об этом буйстве... потом угостил ее грибами, привезенными из Сортавалы... Багульник — который мы показали ей с мамой для определения (мама подумала почему-то, что это эфедра) — и оказался — тот самый багульник, запах которого она так любила и который есть в том ее стихотворении, которое я отвез П. Старчику в больницу в ее письме к нему.

Вскоре состоялся суд над Ф. Себровым, арестованным в конце августа за якобы поддельную запись в трудовой книжке. На суде был Андрей Дмитриевич, З. Григоренко, А., А. Подрабинек, за которым ходили, не отставая ни на шаг, четыре гебешника и ехали по две, по четыре машины, Кирилл, его брат, и др. Зал суда брали с боем — орава гебешников норвила оттеснить нас и занять все места. Они и заняли первые ряды, но нам все же удалось войти и сесть, в том числе и корреспондентам.

— Вас мы уважаем, — говорили гебешники Андрею Дмитриевичу. Я это слышал неоднократно в подобных ситуациях. На протяжении всего заседания я записывал все, что успевал. А. взяла с собой фотоаппарат, но он некстати выпал у нее с грохотом на пол и вышел из строя. Несмотря на то, что адвокат (Резникова) доказала, что: а) запись не была поддельной, б) если она и была поддельной, то за это никак нельзя возбуждать уголовное дело, так как эта подделка не давала Феликсу никаких прав и льгот (запись гласила, что двадцать лет назад он уволился с работы по состоянию здоровья — а в это время он был арестован), в) если бы даже это и было подсудным деянием, то все равно нельзя было возбуждать дело, так как истек срок давности, — несмотря на это, его приговорили к одному году лагерей. Обрато к метро мы шли с А. Подрабинком, и я предложил ему поселиться у меня, — так как у него были затруднения с квартирой — прописан он был в Электростали, а снимать в Москве не мог, так как препятствовало ГБ.

Это мое решение было вызвано тем, что я уже почти закончил «Федора Степановича», новой работы решил не начинать до тех пор,

пока не достигну нового уровня сознания. И это промежуточное время решил посвятить «общественной» деятельности в той форме, которая для меня приемлема: помощь наиболее нуждающимся. В самом худшем положении из всех моих знакомых находился А. Подрабинец: говорили, что на него уже был готов ордер на арест (в связи с его книгой «Карательная медицина», сыгравшей роль в осуждении Советского Союза за злоупотребление психиатрией, принято на конгрессе психиатров в Гонолулу). А так как у меня не было семьи, работы, которой я бы дорожил, и всего прочего, а кроме того, была отдельная квартира, то я почувствовал себя первым, кто должен ему помочь, так как мне это легче всего. Он ответил, что, видимо, примет мое предложение, но еще подумает. Через несколько дней перевезли его вещи, я дал ему ключи, и он, пока еще не часто, стал ночевать у меня.

Тем временем я спешно доделывал «Федора Степановича». Л. М. попросила рукопись, и я дал, так как всю ее хранить дома уже было опасно. Многие ее замечания оказались справедливыми — я их учитывал при перепечатке, но эта работа затянулась дольше, чем я рассчитывал, — тем более что мне приходилось также много печатать для психиатрической комиссии (Хельсинкской группы). Я брал у нее очередную часть, перепечатывал, перепечатанное заклеивал и отдавал знакомым. Второй экземпляр черновика тоже находился в другом месте, так что возможность утраты рукописи была почти полностью исключена. Последние страницы я допечатывал, когда у дома стояли машины, ГБ следило за каждым нашим шагом и, вероятно, прослушивало все, что происходило в квартире. Работа над рукописью окончательно была закончена только в середине ноября.

В конце октября, опять на Дальний Восток, уехала А. Помню, как заходила последний раз, как ехали потом все вместе в метро: она — по делам, я — на работу; как спросила меня: что надо делать, чтобы я всегда был таким радостным, и я ответил: приходить чаще; как потом решил поцеловать ее на прощание — и она вышла на «Проспекте мира».

Безнадежность с А. и висящий арест А. Подрабинека, и жизнь, которая перешла на особое, как бы военное положение из-за непрекращающейся слежки, и чувство неудачи с «Федором Степановичем», и чувство потерянности от того, что закончил работу, и неизвестность: что будет в ближайшее время, — все это выбило у меня почву из-под ног, я постепенно стал погружаться в запой. Чувствуя, что тону, что это может кончиться плохо, я решил снова ехать к о. Тавриону. К тому же тот весенний сон не давал мне покоя — я ожидал, что что-то важное должно произойти между нами — а когда ездил в сентябре — то так ничего и не произошло. И из-за того, что ездил не один, а с М., вся поездка прошла как-то суетно и в раздражении на нее. Теперь же я собрался, как всегда, один, и надеялся, что там наступит просветление духа. И я найду ответ, как должен вести себя с А. Однако и в эту поездку не произошло ничего примечательного, а тоска об А. лишь усилилась. Был конец ноября, снега еще не было, лес был почти таким же, каким я его оставил в октябре — даже росли еще грибы. . . . А ведь уже совсем недолго до весны, когда опять у меня будет лес, — декабрь, январь, февраль, март, апрель — пять месяцев всего — считал я — дожить бы, дотянуть, — и опять вернется утраченный покой. . . . Когда я проснулся утром в поезде, уже в Подмосковье, — все было белым-бело: наступила зима. Я был рад, что застал последний момент — и приготовился к переходу к первому моменту — когда сойдет снег.

В лесу я чувствовал себя уверенно, лес — надежная опора для моей души. Жизнь в городе подобна эквилибристике, хождению по канату: я не могу отгородиться от человеческих вторжений в мою жизнь, я внутренне беззащитен перед ними — и жертвую своей работой и внутренним покоем, жестоко расплачиваясь за это срывами и приступами тоски. . . .

Приехав в Москву, я попал в кипящий котел событий: А. Подрабинека схватили на улице, привезли на Лубянку и предложили ему дилемму: или он вместе с отцом и братом уезжает на Запад, или против него и брата начинаются уголовные дела: его по 190-й (статья), брата по 218-й

(хранение оружия). Причем брат может уехать только вместе с ним. Мы решили устроить «проводы», не оглашая пока его решения. 1 декабря (?) собрались у меня — вернее уже у нас — все друзья. Повесили плакат: «По вопросам эмиграции Подрабинеков обращаться к Леонтьеву». Поставили на стол мой бюст, вылепленный одной скульпторшей с гимнастики, и повесили ему на шею табличку с надписью: Леонтьев. Пока еще шутили. В тот день я, сильно под хмелем, полез в гебешную машину: эй, полковнички, а ну вылезайте — поговорим по-мужски! Они закрыли стекла и отвечали мне матерщиной, никто не вышел.

Вскоре пришла А. — мы с ней должны были вместе работать — все та же гимнастика. Мне пришлось пускаться в долгие объяснения в связи с Л. Внешне же было все как прежде.

5 декабря должна была состояться очередная демонстрация на Пушкинской площади. В связи с тем, однако, что старую конституцию отменили и день этот потерял свое значение (хотя и раньше в нем не было особого смысла), решили перенести демонстрацию на 10 декабря — день прав человека — и впрямь проводить демонстрацию в этот день. В связи с этой переменной возникла путаница: многие приехали из других городов к 5 декабря, и 5-го все же что-то состоялось. Мы собирались идти 10-го. Власти сделали предупреждение, что на демонстрантов пойдут «советские люди» из близлежащих ресторанов и кафе. Андрей Дмитриевич заявил, что на демонстрацию не придет, так как ожидает провокации. Человек 20 в этот день сидели под домашним арестом: власти хотели сорвать демонстрацию. Нашу «охрану» усилили: весь двор был наводнен гебешниками. Отключили телефон, и когда мы выходили звонить из автомата, они, человек восемь, окружали телефонную будку сплошным оцеплением и глядели на нас в упор — без всякого выражения или же криво усмехаясь. Ближе к вечеру Таня Осипова и Ал. Курп. вышли в очередной раз звонить — и не вернулись. Тогда вышли и мы — тоже звонить, а заодно выяснить, что с ними. Тут же в подъезде А. Подрабинека окружили гебешни-

ки. Один из них сказал: туда (обратно) — или туда (с нами). А. Подрабинек ответил: тогда — туда и хотел вернуться обратно, но тот, кто предлагал выбор, схватил его за руку и сказал: нет уж, с нами. Я схватил А. Подрабинека за другую руку и потребовал, чтобы они оставили его в покое. Когда же его повели — я шел за ним, не отпуская его руку. Бедь с минуты на минуту ожидали мы его ареста и — кто знал? — может, это и был уже арест. Сначала меня пытались отпихнуть от него, но когда им это не удалось, нас посадили в машину обоих и повезли. — Куда нас везут? — гадали мы вслух, упражняясь в остроумии на своих конвоирах. В Бутырку? Нет. На Лубянку? Нет, свернули. В Лефортово? Тоже нет. Тут мелькнул указатель: Шереметьево. — А-а, — засмеялся А. Подрабинек, — высылают! Гебисты хранили гробовое молчание. Привезли нас в опорный пункт охраны порядка на Лозовском переулке — и тут же разъединили. Я был в неприлично рваном пальто. — Это в честь чего такой маскарад? — Думал, драться с вами придется. После этого начались следовательские вопросы: в каких отношениях с А. Подрабинеком, когда и где познакомились, почему он у меня живет? Я ответил, что на такие вопросы отвечать не буду, все, что их интересует об А. Подрабинеке, они могут узнать у него самого, в соседней комнате. Они сказали, что я нарушаю закон, держу у себя так долго человека без прописки, что мне придется за это нести ответственность. Я сказал, что об этом буду говорить с теми, кому надлежит заниматься такими вопросами, — то есть с милицией. После этого возобновились следовательские вопросы, причем дошли до того, что стали спрашивать у меня, как относятся ко всему происходящему мои родители, которые живут в этом же доме. Я заявил, что предупредил их уже, что на такие вопросы отвечать не буду, а так как они, несмотря на это, продолжают их задавать — то я не позволю больше над собой издеваться и отказываюсь с ними разговаривать вообще. Тогда меня заверили, что таких вопросов больше не будет, что поговорим просто так... И тут начался диспут, который, не затихая, продолжался пять часов подряд — меня



словно осенило какое-то вдохновение. Жалею, что не записал его сразу же — но попытаюсь восстановить, что запомнилось.

— Как это вы можете выступать против своей родины, своего народа?

— Я никогда не выступал против своего народа и родины.

— Но вы ведь вступаете в конфликт с властью.

— Моя родина, мой народ существуют более тысячи лет, а советская власть всего 60 лет, и неизвестно, что будет еще через 60 лет. И я хочу служить именно своей родине и своему народу, а не той власти, которая правит в данный момент.

— Но ведь вы вступаете в конфликт с народом!

— Что вы понимаете под словом «народ»? То, что вам хочется, или то, что есть на самом деле? Я знаком со многими людьми — и никогда, ни с кем не вступал в конфликт из-за своих убеждений.

— Ну, значит, такие у вас знакомые. А на работе?

— Я знаком с людьми самых разных слоев — но со всеми мог найти общий язык, в том числе и на работе.

— Ну, а с кем на работе вы можете найти общий язык?

— Это провокационный вопрос, отвечать не буду. (Смеются.)

— Вот если, — продолжаю я, — кто и идет против родины и народа — так это вы, которые навязывают всему этому огромному народу единственно только свою идеологию. (Это для них явно неожиданно — переглядываются, качают головами.)

— Но ведь весь народ поддерживает нас.

— Ложь. Я лично не встречал ни одного человека, который бы всерьез принимал то, что пишут на первых страницах газет.

— Но ведь родина, народ . . .

— Что вы имеете в виду, когда говорите «родина», «народ»? Ведь это понятия такие широкие, что о них можно сказать все что угодно — и все будет верно. Давайте выражаться точнее и таких понятий не употреблять. (Долго препираемся, наконец соглашаются этими понятиями не оперировать.)

— Ну а чем вы-то лично довольны? У вас ведь — и кооперативная квартира . . . (Тут он осекается, потому что прибавить ему нечего.)

Я отвечаю словами Набокова: — Я лично претензий к советской власти не имею.

— Так в чем же дело?

— А в том, что мою родину, мой народ оккупировала одна идеология, одна партия, которая при нормальном положении занимала бы свою какую-нибудь десятую часть среди других, но которая сейчас держится насильем и насильно подчиняет себе то, что не умещается в нее, и этим самым наносит огромный вред, уродует, нарушает нормальную жизнь, нормальное развитие.

— Но ведь дай всем свободу — тут такое начнется . . . вы что же — и порнография бы разрешили?

— Меня меньше всего занимает порнография — это настолько незначительно по сравнению с тем, о чем я говорю . . .

— Нет, но все-таки, вы разрешили бы порнографию?

— Что это у вас за такой интерес к порнографии? Меня, например, это не интересует — и мне все равно, есть она или нет. А если вам это нужно — вы и сейчас себе достанете. (Смеются, соглашаются.)

Тут мой собеседник, видимо уязвленный, переходит в наступление: так что же, вы хотите, чтоб как на Западе? А знаете ли вы, что на Западе . . . Я выбиваю у него из рук эту карту: я на Западе не был и не знаю, что там. Из того же, что знаю, мне многое не нравится. Но не этого я желаю для своей страны — не того, что на Западе, а того, что нужно ей.

— Что же ей нужно?

— Освобождения от насилия одной идеологии, духовной свободы.

— А знаете ли вы, что благодаря этой идеологии мы выиграли войну с фашизмом?

— Ну, тут вы бы помолчали. Выиграл войну народ — причем не благодаря, а вопреки Сталину (вспоминаю я слова Эренбурга), понеся огромные жертвы именно по вине правительства. А знаете ли вы, что сама война была развязана Сталиным в той же мере, как и Гитлером? Что именно заключив договор со Сталиным, поделив с ним мир, — Гитлер смог так

уверенно начать войну. Не будь этого договора, может, все повернулось бы иначе.

— Ишь, как вывернул! Все наоборот! — аж хлопнул себя по коленям молодой гебешник из Сашиного хвоста. Другие переглядывались и обменивались восклицаниями с такой интонацией, что «ну, это уж слишком».

— Вот вы не верите, — вас по-другому учили. А пересмотрите еще раз, сами, историю того времени — это и из наших источников видно.

Тут вступил другой — недавно вошедший, — видимо, старший по званию и умом поживее. С ним разгорелся яростный спор, во время которого в комнату вошли дружинники — комсомольские активисты, которые дежурили в этом пункте охраны порядка.

— Можно послушать? Интересно... — И, подобострастно глядя на гебешника, присели. Буквально через пять минут их отозвали из комнаты, и больше они не появлялись. Заходили и другие — слушали, уходили, приводили новых. В общем, аудитория у меня была немалая.

— И чем же вы, конкретно, недовольны? — напирал новый.

— Чем? Да все простые вещи. Вон Маркс и Ленин лежат в сотнях изданий, а вот — цвет русской культуры, гордость русского народа — Хомяков, Бердяев, Булгаков, Флоренский — называю, не выбирая, — Розанов, Трубецкой, Франк, Шестов, Федоров, Леонтьев, Соловьев, Солженицын — вот первое, что в голову пришло, — ничего этого достать нельзя, а это ведь классика, сама русская культура! Вы же лишаете народ его культуры...

Тут первый мой собеседник стал говорить, что уважает Солженицына, что — талант, да только вот — озлобился. Я, конечно, понимаю — лучшие годы там провел... Но все-таки. Вот я знаю одну женщину — маршалшу (или генералшу) — так она восемнадцать лет отсидела, а когда вышла — то говорит: как же я рада, что люди живут по-прежнему, верят по-прежнему в коммунизм и о том не вспоминают!

— Ну, — ехидствую я, — представляю, как ее довели...

Все рассмеялись (уж им ли не знать!).

— А какую же идеологию предлагаете вы? — спросил второй собеседник.

— А никакой. Доверьтесь людям, их выбору — каждый найдет себе во что верить.

— Значит, плюрализм, многопартийная система?

— Та система, которая естественно вырастет из самого народа.

— Так прямо и сама собой? Да вы идеалист. Эй, а может, он еще и в бога верит? Вы, может, и в бога верите?

— Да, верю, — ответил я.

Они переглянулись понимающе: мол, с ним все ясно!

— Не понимаю, что молодых тянет в церковь — вместе с этими старухами — это в наше-то время!

— И не поймете, если вам не дано это!

— Но ведь бога нет, это очевидно! — опять вступил молодой.

— Но ведь Бог есть, это очевидно, — противопоставил я.

После долгих выяснений мы пришли, наконец, к тому соглашению, что нельзя утверждать ни того, ни другого — это дело веры каждого, но для того, чтобы все друг друга не перегрызли, надо соблюдать заповеди «Не убий», «Не укради» и др. — это он признал, к моему удивлению.

Народ тем временем разошелся, и мы остались вдвоем с первым собеседником.

— А вы как, собственно, относитесь к абстрактному искусству? — вдруг спросил он. Ну вот, пошли вопросы из психодиагностики, — догадался я, но заметил вместе с тем, что в голосе его появились новые интонации.

— Что именно вы имеете в виду и почему именно вас интересуют мои личные вкусы?

Тут он смутился и признался, что не понимает абстрактного искусства, зато любит реалистическое искусство и в качестве примера привел картину «этого, как его, Иванова, что ли... Ну — где Христос стоит вот там... И Пилат... — Ну, «Что такое истина» называется. Вот эта картина мне нравится. И Булгакова очень люблю, «Мастера и Маргариту», это да... а что? Я уважаю Христа...

Только он был человек, — конечно, выдающийся, но человек, а не бог.

— Скажите, пожалуйста, — перешел тут в наступление я, — вот вы любите искусство, смотрите картины, читаете книги. И вот, интересно, как вы все воспринимаете, о чем там написано? Как правду — или же как просто развлечение? Соотносите ли вы это все с собой — или же считаете, что вы — сами по себе, а то, о чем говорит искусство, — само по себе?

— Ну почему же, я считаю, что искусство должно воспитывать людей.

— Но как же это увязать с вашими взглядами? Ведь по-вашему выходит, например, что Иуда — положительный персонаж.

— Как так? Нет! Иуда — предатель!

— Но ведь он, во-первых, помогал властям и даже был вознагражден за свой поступок деньгами; во-вторых, он выполнял волю народа, который кричал: «Распни его!»

Он молчал, не находя, что ответить.

— А теперь приложите все это к теперешней ситуации и скажите: кто сейчас выполняет роль Иуды?

Он посмотрел на меня затравленными глазами и выпалил: — А. Подрабинек!

— Кого же он предал?

— Родину, народ.

Я рассмеялся: — Ну, знаете ли, вы перестали уже понимать самые очевидные вещи. Посмотрите на А. Подрабинека; один, без оружия, под страхом тюрьмы, под неустанным наблюдением помогает попавшим в беду людям, действуя одним лишь словом. Кого он предал? И есть ли хоть капля крови на совести тех людей, которых вы преследуете? А теперь взгляните на вашу организацию, оснащенную новейшей техникой, пользующуюся поддержкой всей силы, которую только можно себе представить, — и сколько же миллионов загубленных жизней на ее совести! Это — факт, от этого вы никуда не уйдете, что бы вы ни говорили. Так вот, принимая все это к сведению, кто же действительно Иуда? — Он молчал, опустив голову. Пауза продолжалась нестерпимо долго, так что мне уже стало неловко, я спросил: да могу я наконец уйти? Он посмотрел на часы и спо-

хватился: уже давно можно! — Потом посмотрел на меня и спросил: а вы не будете потом... обсуждать этот разговор с А. Подрабинеким и смеяться? Я, зная, что будет именно так, ответил: к сожалению, все это вовсе не смешно, а грустно. — Что грустно? — Грустно, что идеологические перегородки между людьми, в которые вы верите, делают людей врагами и мешают им увидеть в другом ближнего... Он протянул мне руку и пожелал всего хорошего. Я тоже подал ему руку и через минуту был на свободе. Позвонил друзьям, они подъехали, и вскоре вышел А. Подрабинек. Все вместе мы поехали домой. Т. О., которую тоже поддержали этот вечер в отделении, отказалась с ними разговаривать и руки не подавала. А. Подрабинек рассказывал им про Хельсинкские группы и про деятельность психиатрической комиссии — и руки тоже не подавал. В тот же вечер к нам пришел Огородников и еще один из его семинара, остались ночевать.

В том же декабре произошло событие, которое произвело на меня сильное впечатление. Умер Е. Я. Брейтбурд — учитель и кумир Славы Скорикова. Он был убежденным алкоголиком: ежедневно выпивал по бутылке водки. При этом был великолепным пианистом и педагогом, очень любил Пушкина — читал на память чуть ли не все подряд. Интересовался событиями — через меня прочел «Архипелаг ГУЛАГ», всегда просил новых книг, был остроумным собеседником. И вдруг — болезнь печени. Он приехал в Москву из Павлодара, где жил в то время. Его поместили в больницу. Мы навещали его со Славой: когда я увидел его — остолбенел от изумления; я не мог поверить, что человек может так сильно меняться: он весь высох, глаза занимали почти все лицо, от чего совершенно изменилось его выражение, говорил медленно, тихо, с величайшим трудом (тем не менее, рассказал анекдот), а главное — стал химически желтого, лимонного цвета — такого натурального, что нельзя было поверить, что таким может быть человек (тем более — знакомый). Он был один у матери. Еще у него была жена. Похоронили тихо.

Вот после этого я запил всерьез — парадоксальная связь! Его смерть как бы освободила меня от необходимости соблюдать некую позу перед жизнью. Я отпустил поводья рассудка — и отдался каким-то бурным, мощным силам . . .

Тем временем А. Подрабинек написал ответ: остаюсь. Это вызвало страшный раскол среди друзей: одни — его отец — Смолянские, . . . Спартаки (Спартак Николаевич — друг отца Подрабинека. Умер. — О. Л.) стали говорить, что это — из честолюбия, что он губит брата, что он должен уехать. Другие помалкивали — нельзя ведь открыто советовать садиться! Лишь Г. Я. определенно высказывал свое мнение, напирая на то, что это — ситуация заложничества, и он должен остаться, иначе будут следующие жертвы . . . Сейчас-то его не тронут, — рассуждал он, — а вот после Белграда пригребут . . .

Мои симпатии были на стороне его решения, но я ему свою точку зрения не высказывал, чтобы не оказывать давления. Давление оказывали, однако, все: в доме стоял сплошной непрекращающийся спор, меня это раздражало, так как я не видел в нем никакого смысла. Но А. Подрабинек нуждался в этих беседах. Один момент он заколебался и написал под давлением друзей вымученное письмо: не остаюсь. Но вскоре порвал. ГБ дало двадцатидневный срок на размышления. Потом прибавило еще пять дней, еще день. Когда же его решение осталось неизменным, Смолянские порвали с ним отношения, а И. Каплун вышла из комиссии, заявив, что не желает быть в одной комиссии с подлецом. Звонил и Андрей Дмитриевич, уговаривал его уехать. Но А. Подрабинек твердо сказал ему, что своего решения не переменит.

**Окончание следует**

## УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

### IX. ДЯДЯ ЕРЕМА

В дальнейшем нашем рассказе нам нередко придется встречаться с личностью дяди Еремы, поэтому всего лучше теперь же определить, что это за личность. Кто был дядя Ерема, сказать до того трудно, что даже сомнительно, Еремой, т. е. Еремеем ли, его звали, имя это собственное или же прозвище. Между нашими удильщиками и «дергачами» усвоятся разные прозвища некоторым, более выдающимся личностям. Иногда одно имя заменяет все. Так и ныне вам скорее укажут искомого вами удильщика-дергача, если вы спросите его не по отчеству и фамилии, а просто по имени — Семен, Николай, Петрушка и т. п.

Таким-то дядей Еремой и был наш новый знакомец в кругу знавших его. Точно так же нельзя было бы определить лет его, потому что Бог знает, где он родился, в Риге ли, в Витебске ли, в Краславке ли, а наружный вид много-много лет оставался без перемен. Когда многие с удивлением замечали ему это, он шутя объяснял: «Эх, братики мои, да когда же мне стариться? Ведь хрычовка старость всякий раз как ни толкнется ко мне, — не находит меня дома, потому что я всегда на рыбе. Она плюнет да и уйдет!» Можно было дать ему 30, 40, даже 50 лет, смотря по тому, в какой он облакался костюм. Одно было достоверно, что он принадлежал к староверству, хотя староверство его было весьма сомнительного

качества, скорее смахивало на индифферентизм или только привычку, основанную не на убеждении, — потому что в деле веры он был дитя, безгласное дитя, — а на фразе: «В какой вере родился, такой и должен держаться, а Бог у нас один!» Только эта фраза, а не предания протопопа Аввакума, Федосея, Соловецкой челобитной и другие подобные краугольные камни раскола, удерживала его в недрах его. Само собой разумеется, что он строго держался внешней формы своей веры: крестился двоеперстием, до того строго содержал посты, что скорее бы с голоду умер, чем оскормился в пост, стригся известным образом, крест носил медный, осьмиконечный и аккуратно раз шесть в год бывал в моленной. Но этим почти и ограничивалось его староверчество. Никакой неприязни он не чувствовал к никонианцу, аккуратно отवेशивал три поясных поклона иконам, даже в церковь захаживал помолиться и поминанье подавал. От участия в закуске у кого угодно не только не отказывался, но даже с удовольствием напришивался, табачок любил не хуже никонианца, за что и крепко же ему доставалось от «батьки» часовенного. Характера он был самого добродушного, никогда и никого не задевал даже крутым словом, всегда был готов помочь: удочка ли у кого портилась, червяков ли, крючков ли у кого не достало, сейчас дядя Ерема выручит. Но горе тому, кто оскорблял его сотоварища. Несправедливости он не выносил: при виде ее готов был, даже рискуя быть преступником, впятеро отплатить обидчику, что мы отчасти уже и видели в деле его

с Притцем. Он непременно выстрелил бы в него, если бы тот благо-разумно не отретировался с своими сообщниками, а выстрелив, непременно убил бы двоих из обоих стволов, потому что в стрельбе он почти не знал промаха. Убил бы двоих, а с прочими управился бы даже без помощи г. Пятницкого, потому что силнее он был непомерной. Он даже сильнее Притца был, и Притц знал это очень хорошо, потому что они не раз каждой зимой встречались в корчме за мостом Пильхаусским, где часто находился Притц, выжидая мужичков с товарами, и куда дядя Ерема нередко заходил погреться, проходя на Белое озеро, на Серебрянку, на Черное<sup>1</sup> и другие для блин-невания или возвращаясь оттуда. Раз полупьяный Притц позволил себе разгуляться, распотешиться над неуклюжей наружностью дяди Еремы. Он сделал ему предложение:

— А что, брат, как тебя звать? Верно Иван, потому что у русских больше половины все Иваны: распотеш публику, стань на карачки и попляши по-медвежьи. Тебе и наряжаться ненадобно!

— Что ж, дяденька, я согласен, — скромно отвечал Ерема. — А какое у нас будет условие?

— Какое? Штоф водки и закуска, а пива сколько захочешь!

— Это ладно, это отлично хорошо. Но ты поставь меня на карачки!

— Идет!

— А ежели не поставишь, дяденька, то что же будет тогда?

— Целковый прибавлю!

— А ежели, паче чаяния, я тебя поставлю, что тогда?

Громкий хохот Притца и всей его компании был ответом на этот вопрос, сделанный тоном умирающего Лазаря. Когда смех поутишился, Притц, коварно усмехаясь, отвечал:

— Тогда, Иван, ты получишь пять целковых.

— И ты, дяденька, пройдешь ризика три на карачках?

— Что делать, пройду!

— Честное слово? И вы свидетели?

— Честное слово! .. Да, да! — отвечали ему хором.

Тогда Ерема трижды перекрестил-ся двуперстием и сказал Притцу:

— Ну, дяденька, бери! Ну, родименький, начинай!

Индрик смело приступил и могучими руками обхватил Ерему, чтобы сразу поднять его и поставить в надлежащее положение. Но не тут-то было. Скорее каменный утес можно было своротить, чем его. Тут Притц первый раз понял, что сошелся с достойным противником, даже почувствовал что-то вроде страха за свое пари и рад был бы отказаться, но со-вестно было осрамиться перед честной компанией на весь свой век. И он продолжал усилие повалить Ерему. Наконец, пробившись немало, а ничего не добившись, он оставил его.

— Экий ты леший! С тобой ничего не подлаешь! Пей, довольно!

— Нет, я крещеный человек, а не леший, дяденька! Только видишь ли, кормилец, оттого маловат ростом, что на пол-аршина росту-то моего в земле! Видишь, оттого и руки-то у меня пониже колен! .. Ну, а насчет водки, так уж . . . того . . . повремени маленько. Поборемся-таки еще!

— Спасибо, я отказываюсь!

— И умно, дяденька, что взять тебе с меня? Однако теперь моя черед. Стань, дяденька, позволь и мне покачать тебя, как мы и сдоговорились! ..

Не хотелось Притцу этого, крайне не хотелось, но стыда ради стал в по-зицию, и тут-то началась страшная борьба. Долго дядя Ерема не мог сломить исполина, хотя он и хралел в жел-езных, длинных ручищах Еремы. С самого Еремы пот градом катился. Наконец исполин рухнул.

— Довольно, ты победил! — хрип-лым голосом кричал под ним Индрик Притц.

— Сейчас, дяденька, сейчас слезу, только с условием: пройдешь по-медвежью.

— Ах ты, свинья, да ни за что на свете!

— Грех, дяденька, браниться. А слезть ей-ей не могу: договор надо исполнять.

Долго ругался и умасливал Ерему Индрик, но он не сдавался, отговариваясь, что зависть есть Каинов грех и что ему довольно и тех пяти рублей, какие следуют по договору.

Кончилось тем, что Индрик-таки промаршировал медведем, потому что он, может быть, и не уступил бы Ереме, но сторону Еремы поддержа-ли и корчмарь, и сотоварищи Индри-ка, втайне тяготившиеся его авторите-том. Они рады были, что коса нашла

<sup>1</sup> Ныне Судрабуээерс и Мелнээерс.

на камень и что посбита будет спесь с их премьера. С тех пор прочно установилась слава дяди Еремы. С тех пор Индрик, встречаясь с ним в известной корчме, не только не задевал его, но угощал, хотя в душе смертельно ненавидел, как и Ерема его.

Еще одной отличительной чертой дяди Еремы была честность. Только она вовсе не так у удильщиков понимается и объясняется, как в катехизисе. Дядя Ерема и руками и ногами стал бы отмахиваться, если бы Московского форштадта карманщик пригласил его в сотрудники (это не раз ему и предлагалось на самых выгодных условиях ввиду его силы и невозмутимости характера, что особенно дорого при допросах). Он преступлением бы счел обмануть кого-нибудь, утаить что-нибудь, стянуть что плохо у соседа лежит, удочку поддеть у товарища, рыбку его, червями, блитками и чем бы то ни было поживиться. Ему смело можно было поручить хоть 100 рублей деньгами, смело можно было поручить квартиру в свое отсутствие. Но этим и кончалась его честность.

По его понятиям, не считалось за грех дров натаскать с плотов около Верманской лесопильни, у Фезика и где попало, особенно на Красной Двине; дрова из этого нерощеного лесу запасались не только на зиму, но и отчасти на продажу. Долгов решительно никогда не платил, хотя в долгах не запырался. За грех считал при благоприятном случае не выпить изрядно на чужой счет. Преступлением бысчел выдать полиции вора, мошенника, особенно из среды удильщиков-дергачей. «Какое мне до них дело? — говаривал он. — Они полиция, пусть и ловят кого знают, за то и жалованье получают. Сам воровать не пойду, да и ловить воров не намерен!» Совершенной добродетелью ставил браконьерство. По местным законам на право охоты в лесах и на водах надобно иметь гражданство г. Риги или звание помещика и приобрести билет, недешево оплачиваемый. Дядя Ерема и знать этого не хотел. Птица ведь Божья, зверь тоже человечеству дан и никем не выращен, а сам вырос. Какой же тут билет надобен? кто его хозяин? — говаривал он. Страшно возмущался преследованиями лесников. Для браконьерства, всегда почти удачного, потому что отлично высле-

живал дичь, отлично стрелял, отлично отделялся от лесников, он имел отличную двустволку, довольно дешево приобретенную на Мюльграбене путем контрабанды, которую тоже и не думал считать противозаконною. С этой двустволкой, как равно со своей знаменитой дубинкой, он не расставался никогда. Двустволка за плечами, дубинка в руках, сумка с удильными препаратами, червями, порохом и дробью с одного боку, мешок с котелком и съестными припасами с другого были всегда при нем, шел ли он в лес или на реку, потому что он сам не знал, чем придется действовать: удочкой или ружьем, и желал быть готовым и на то, и на другое. Насчет браконьерства он даже и временем не стеснялся, лишь бы птица глупая попадалась и свидетелей не было.

Где он жил? чем жил?

Жил бог его знает где. Летом едва ли он даже имел квартиру, потому что безвыходно находился в лодке. К этому он отлично и приспособил свою лодку: широкая корма была выслана дерном, так как у него она исполняла обязанности кухни. Там в подобающее время разводился огонь, ставился таган, котелок и варилась жирная свежая уха, какую, может быть, кушают только гастрономы, или жарилась утка, дичь, смотря по тому, что Бог послал. На днище лодки был соломенный с чем-то вроде подушки, а на случай дождя имелся складной холщовый навес в виде треугольника, правда мало доставлявший защиты своему владельцу, но дядя Ерема не очень-то боялся дождя и холоду. Если же круто слышком приходилось под такой крышей, то искал пристанища где-нибудь на берегу, у знакомого сторожа в будке, под стогом, навесом сеного сарая, какие встречаются здесь во многих местах на лугах. Все дни, все ночи он так проводил. В город являлся только затем, чтобы червей набрать, добычу продать, припасов купить или вследствие какой-нибудь экстренной надобности. Только зимой имел постоянную конурку по 50 к. в месяц.

А жил он тем, что Бог посылал: рыбкой, дичью. И не думайте, что средства эти скудные. Нет, дядя Ерема, по его словам, мог бы в шелках, бархатах ходить, по-губернаторски есть в три блюда, если бы не один прокля-

тый козел! Когда спрашивали его, что это за козел, он, фыркнувши в нос, отвечал: «Не знаешь, какой козел?! Известно, черный, тот, что выдумал водку и Ноя спойл!» Много в кабацкой мешок перевалилось трудовых Ереминых денег из-за этого грешка. Случалось, что иногда он добывал по несколько рублей в день, а в неделю десятки рублей, и таких недель и зимой и летом было немало. Но что добывалось, то и спускалось тотчас же. В дни хорошей добычи у него был светлый праздник не только для себя, но и для всякого встречного-поперечного. Пей, ешь, угощайся — и проваливай! А не то запасется питейным один — и на лодке гуляет и рыбу таскает, сиречь два удовольствия получает. В эти дни он отнюдь не позволял себе заниматься браконьерством, потому что, как сам объяснял, и руки танцуют, и глаза в жмурки играют, и ноги как-то не на месте, а леший-лесник сбоку так и вертится. Вследствие такой безалаберной жизни у него бывало всего вдруг густо, а потом пусто. Случались такие дни, когда ни дичи не попадалось, ни рыбы не было: тогда дядя Ерема садился, если не подвертывался какой-нибудь добрый приятель-хлебосол, на пищу св. Антония. Само собою разумеется, что и облачение дяди Еремы не могло быть чересчур изящным, а зимою теплым. Малахай после дедушки Ермилы, зипун невыразимого покроя, какие-нибудь опорки, зимой завернутые в хлопки, в тряпье, панталоны из манчестерской материи, известной в простом народе под именем чертовой кожи, белье из грубейшего холста — вот обыкновенный костюм дяди Еремы. Говорим: обыкновенный, потому что бывал и не обыкновенный, так сказать экстренный, случайный, когда случались удачные дни, даже недели, т. е. когда он успевал зашить десятка два-три рубля — и тогда-то он принимал вид 30-летнего солидного мужчины. Костюм этот потом уже и в праздник и в будень, и дома и на ловле так и носился, пока на клочки не распадался. Удочки, им сплетенные, пользовались такою знаменитостью, что охотню платили ему, и то пользуясь его безвыходным положением, копеек по 30—40 за штуку. С одной двустолкой он никогда не расставался, а лодку берег пуще глаз,

пуще вице-жены. Ту он лупил без милосердия, можно сказать, только до ней он был строг, и строг не потому, что был придирчив, ревнив — насколько! — а потому, что пристала, по его словам, к нему, как банный лист, и не идет, окаянная, прочь, чтобы ей издохнуть! а и уйдет, то опять воротится, так что хоть топись! Такая бесстыжая, что и сказать нельзя! . .

Самая лодка благоприобретенная была мерами не катехического свойства.

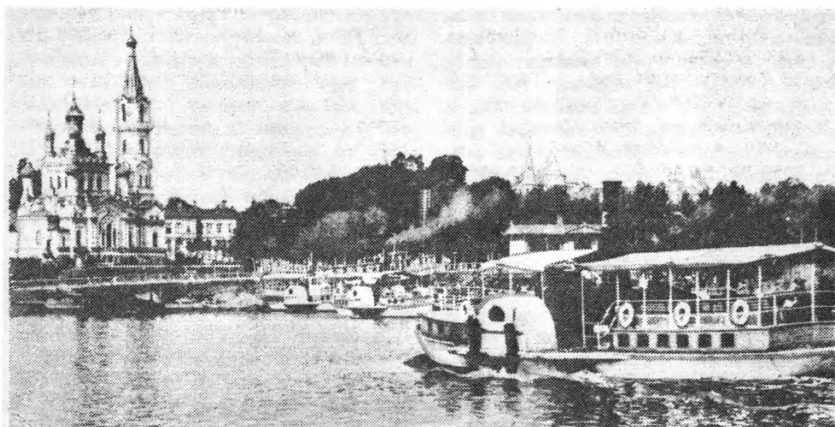
Дешевое приобретение челноков случается так: нагружают челнок камнями до того, что он тонет. Само собой разумеется, что это может происходить не иначе, как с согласия караульщика и большей частью с барок. Пригоняемых из Поречья, из Белок. Благоприобретатель, положим, сговорится взять два целковых за челнок, стоящий 5—10 рублей. Отчего ему не согласиться? Ведь если он сохранил лодку, прибыли ему не будет ни на грош. А не сохранится, разве он виноват? Виновата буря! потому что именно в бурные ночи и совершается эта нагрузка. И разве хозяину значит что-нибудь потерять душегубку? Лодка, затонувшая в воде, на замеченном месте, лодка, о которой хозяину докладывают, что унесена бурью, благополучно вытаскивается при первом случае из воды и передельвается так, что и узнать нельзя. Да и кто будет ее искать в этом лабиринте заливов, проливов, протоков, озер, каналов, островов, тростников, болот, который заключается на пространстве между Ригию и устьями Двины? Это все равно, что иголку искать в стogu сена.

Таков-то был дядя Ерема! Не наша вина, если он людям салонным покажется особою непривлекательною, — мы списываем с природы.

Однако удильщики и дергачи смотрели на дядю Ерему не только без брезгливости, но даже с любовью и уважением, конечно выраженными своеобразно. В нем все заискивали надежного товарища, хотя и не без некоторых грешков. И он ни разу не обманул надежды заискивавших. Если он кому сказал: будем товарищами, то и был товарищем, а говорил он это не всем.

К числу заискивающих принадлежал и Иван Алексеевич. Он сразу приобрел





Гагенсбергский [ныне Агенскальский] залив с пароходами. Фото начала века

рел расположение дяди Еремы тем, что, отрекомендовавшись первый раз на льду вашим благородием, дяде первому подал руку и угостил доброй чаркой иерихонского (так называл простейн или очищенное). Впоследствии дружба еще более укрепилась тем, что они оказывали друг другу взаимные услуги: дядя руководил уженем, а этот угощал его, помогал ему в час лютой нужды. Но до фамильярности дядя не позволял себе доходить. Ты, дядя Ерема; вы, Иван Алексеич — стали безмолвно, однажды навсегда установленными терминами в сношениях их между собою. И наконец вот почему дядя Ерема так горячо принял к сердцу дело племяша в деле Индрика Притца и почему Притц так легко уступил дяде Ереме.

Теперь последуем за ними на Двину, на Фезик, куда они скоро прибыли, потому что дядя привел племяша с двумя ребятами, примкнувшими к нему вроде адъютантов, прямой дорогой к своей лодке, ожидавшей их на берегу напротив Троицкой задвинской церкви<sup>1</sup>.

Х. ПАН ЛЕЩИНСКИЙ

И БАРОН

ФОН-ДЕР УГОРЬ-УГОРСКИЙ

— А сегодня мы на пана Лещинского ополчимся и, уверен, отлич-

чимся! — шепотом сказал дядя Ерема, осторожно, т. е. почти без шума, усаживаясь против ровика, образовавшегося между тафлями балок, на Фезике, т. е. Фегезакольме. Таких ровиков там бесчисленное множество, потому что плоты буквально покрывают весь, довольно значительный и приглубый, пролив, начинающийся почти с Екатериндамбы<sup>1</sup> и продолжающийся версты на две к лесопильне Армштедта, а шириной шагов 200—300 и более от берегов острова вплоть до песчаной косы на рукаве Двины, направляющемся вправо от реки к устью Красной Двины, потом круто заворачивающем к Мюльграбену, где и соединяется с Мюльграбенским проливом из Киш-озера. Несколько рукавов этого главного рукава, как бы соскучась, что оставили матерное ложе Двины, отделяются от своего принципала и, взявши налево, опять возвращаются в прежнее ложе, образуя несколько островов, богатых сеном и множеством диких уток. А один остров даже обитаем, называется он Канатным, потому что там и был тогда небольшой канатный завод, а лежит он как раз на берегу Двины, насупротив Фезика и Екатериндамбы. Под этими плотами водится много рыбы, и рыбы хорошей. Много водится ее так же и около островов, где только найдет она приглубое место, особенно изобилующее

<sup>1</sup> То есть в том заливе, где ныне зимуют речные пароходики.

<sup>1</sup> Ныне Катриндамбис.

тростником, а всего лучше тальником, корни которого спускаются в воду. Особенно много рыбы у берегов Канатного острова, потому что и тут становятся во множестве плоты, пригоняемые из лесопилни и для продажи на корабли. Впрочем, в нынешнее время самого широкого лесостребления при всех берегах двинских островов стоят плоты и под ними водится рыба, в большем или меньшем количестве, крупная или мелкая, смотря по глубине воды под навесом плотов. Но самое лучшее место в летнее время для крупной рыбы есть Фезик, потому что воды, оплывающие Фезик, почти везде равномерно глубоки, от 2 до 3 и более сажень в середине, и плоты покрывают все пространство их с ранней весны до поздней осени, тогда как в прочих местах плоты беспрестанно передвигаются, т. е. приводятся и отводятся, причем тревожится рыба, и самые воды неравномерно глубоки, так что рядом с омутом находится отмель, что препятствует свободному движению крупной рыбы. Наконец, в открытые берега островов бьет сильная волна, которая, пугая рыбу, мутит воду, т. е. портит ее стигию и заставляет удаляться ее в глубину, куда волны не достигают. Между тем как на Фезике она находит всегда тихое пристанище от всех ветров и бурь, потому что сверху имеется прочный навес из плотов, а от волн ограждена со всех сторон песчаными молами или берегами. Это, так сказать, цитадель ее. Как, однако, там ни много ее летом, надобно быть очень искусным удильщиком, чтобы ловить ее. Неискусные в целый день не изловят ни одной рыбки, ни большой, ни даже малой. Последней, впрочем, там очень немного, потому что не только человеческий род, но и рыба безусловно следует неизменному, коренному правилу, что сильный вытесняет слабого. Значит, кто не умеет поймать на удочку водяного туза, тот не поймает там и двойки, разве когда-нибудь клонет ерш с девичий мизинчик величиною и какая-нибудь шальная быстеренка величиной с ручонку ребенка.

Кроме общих причин физиологических, объясняющих присутствие рыбы на Фезике, можно указать, так сказать, на нравственную. Именно рыба, особенно крупная, взрослая,

имеет замечательную смысленность, особенно в деле самосохранения. Рыба несомненно поняла, что проживать в водах Фезика всего безопаснее. Там ее невозможно ловить не только неводом, но даже в иных местах простою, неподвижною сеткою, потому что все дно пролива засорено, усеяно ломом, щепами, колыями, связками с плотов, даже балками, так что всякая рыболовная снасть непременно разорвется, если пустить ее там. Почему здешние рыболовы ловят сетями в других местах. Только зимой можно им ловить мелкую рыбу у берегов, ставить кое-где сети, да весной, когда окуни и другая рыба мечет икру и для этого стремится к берегам, не рассуждая об опасности, у всех берегов Фезика сплошным рядом становятся верши, сетки. Тут же рыба находит себе и обильный провиантский магазин. Гниющие элементы засорения — это ее любимое жаркое, даже с салатом из разных слизистых червей и насекомых в гнилье.

— Да, отличимся, — повторил Ерема.

— Из чего ты это, дядя, заключаешь? Погода-то серенькая.

— А вот почему мы будем с рыбою: время еще не позднее, солнце не взошло. А и взойдет, то туман не скоро разойдется. Значит, пан Лещинский, если только не обзавелся очками, не будет хорошо видеть удочки, точно так же и барон.

Дядя говорил правду. Пасмурные, влажные дни при тихой погоде исключительные дни, когда рыба быстро беретса целый день именно по той причине, на которую указал дядя Ерема. Иван Алексеич, хоть и часто шмыгал на Двину с удочкою, но до тонкостей уженья еще далеко не дошел.

— Еще и потому я уверен, что будем с рыбою, что немногие спроведали, что Лещинский с фамилией здесь поселились. Балки еще не так давно здесь прочно установлены, и наша братья думает, что Лещинский не подошел сюда, а я еще третьего дня подметил, что он, сударик, здесь. Утром по местам так хлопается между балками, что ужас. Да вот, посмотрите!

Действительно, в это время в нескольких местах раздались сильные

всплески на поверхности воды. Это лещи, так сказать, разминали кости, поднявшись с ложа своего. Лещ это нередко делает и этим самым выдает артисту-рыбаку место своего пребывания.

— Вот видите, — продолжал дядя, — еще непуганый, будет напропалую брать все утро, только не надо шуметь, сидеть следует как можно тише.

— Дядя, не пойдем ли мы удить туда, где хлопались они?

— Наловим не сходя с места, потому что под нами ее побольше, чем там. А что она не хлопается здесь, то значит, что незачем подниматься за козявками. Здесь ей есть чего жрать и без того. Знаете, что я ей подпускаю уже сряду три дня?

— Почему мне знать?

— Я подпустил ей по крайней мере воз корму с барок и целый чугуи варава. Вот он к этому корму и сидит присединившись, а мы его тут и подденем.

— Дядя, да он совсем не будет брать приманки, если он сыт.

— А спрошу я у вас, барин, щи или суп вы кушаете?

— Что за вопрос? Разумеется, ем.

— И досыта кушаете?

— Что ж из этого?

— Ничего! А только когда подадут жаркое, вы не отказываетесь и от него? Так ведь, что мой опущенный корм есть суп или щи для пана, а удочкой поподчую, так он покушает еще слаще жаркова, даже пирожного.

— А какая у нас будет насадка? — спросил Ваня.

— На верхнем крючке по три красных червя, вперемежку с белыми, а на нижнем все белые.

— Отчего это так?

— А вот видите, барин. Лещ берет только на красных червей, насаженных кучкой, словно букетом, вместе с белыми. Рот у него большой, он проглотит целую горсть червей. Но тут же есть паршивенький ерш, который берет только на красных червей, а белых не любит. Надобно во что бы то стало прогнать его, потому что он стал бы беспрестанно щипать приманку и сбивал бы с толку рыбака. А протурить его немудрено: он бродит по дну и хватает только за нижний крючок. Ну и следует его подчивать тем, чего любит, т. е. на-

садить белых червей. Он будет шнырять тут, а морду отворотит. Лещ же велик ростом, ему неловко доставать приманку с нижнего крючка. Но начнем — Господи благослови! — ставить удочки. Сидитесь рядом со мною и, главное, не горячитесь, а лучше всего, как подсечете, не тащите сами, а дайте мне. И не вытаскивайте леща на удочке, даже маленький лещ оборвет ее. Надобно подхватывать его сеткою.

Дядя был прав: ловля удалась превосходная, плодом ее было несколько десятков лещей и подлещиков и несколько угрей солидных размеров. Лов был бы несравненно обильнейший, но Ваня горячился, спустил несколько лещей, оборвал несколько удочек, чем очень сердил дядю, и справедливо, потому что не беда, если не клюет рыба, но очень худо, если она срывается, особенно с лесом во рту, потому что она как бешеная бросается в сторону и вся рыба за ней, увлекаемая или ее испугом или какими-нибудь знаками, которые она подает, что здесь ей опасно. Рыба скоро ободрается, не примечая этой опасности, но все-таки происходят промежутки времени, более или менее продолжительные, смотря по тому, как много рыбы и как она напугана прежде. Между прочим, попались два таких леща, с которыми едва справился сам дядя, фунтов на 10, даже более. Таких лещей теперь нет в нашей Двине, опустошенной всеми видами рыболовства, но тогда они были не редкость даже в Красной Двине, о чем, впрочем, не раз будем говорить впоследствии.

— А что мы поделаем с рыбой? — спросил Ваня, когда дядя часов около 12 стал свертывать удочки, потому что клев прекратился.

— Мы вот что сделаем, барин: часть ее продадим на лесопилке, там дадут хорошую цену... На деньги погуляем. А получше отнесите дядюшке вашему, примерно вот этих лещей и угрей. Любит он угрей?

— Еще и как! Лещ бы даровые были. Но за что ж ему?

— Вот видите, это вам будет самый лучший случай похлопотать опять о вашем деле с Марьей Гавриловой.

— Ты, дядя, прав. Я так и сделаю.

Окончание следует

Владимир ФРЕНКЕЛЬ:

## ПРЕДИСЛОВИЕ НЕ К СТИХАМ

### СТИХИ

### СТАТЬЯ 82 ГОДА

Получив приглашение вновь опубликовать свои стихи в «Даугаве» и одновременно просьбу написать что-то о себе, о последних годах и событиях, — я оказался в затруднительном положении. Я ведь понимаю, чего от меня ждут. Рассказа о том, почему я был политзаключенным, отчего эмигрировал... Сколько сейчас таких историй в прессе! Но... какое отношение это все имеет к поэзии, к стихам?

Я не люблю образа «поэта-страдальца». Я не люблю, когда биография заменяет поэзию. Я считаю, что поэзию нельзя заменить ничем, равно как и изгнать ее нельзя ничем и никем. И еще: я бы не хотел, чтобы представители карательной политической системы попали бы в историю литературы хоть так, контрабандой, как палачи.

Поэтому, если я все же вкратце что-то скажу, то уж никак не в качестве предисловия к стихам — стихи здесь ни при чем.

Моему аресту по политическому обвинению, сфабрикованному работниками Рижской городской прокуратуры, — 15 января 1985 года, — предшествовали два обыска зимой и весной 1984 года. В результате у меня были украдены (я называю вещи своими именами) мои книги, рукописи, кассеты и много еще чего. Среди прочего: книги философов Соловьева, Франка, Бердяева, книги по истории Церкви и еврейской истории, кассеты с записями авторских песен, а также на слова Ахматовой, Пастернака, Блока, Цветаевой, Ауст-

ры Скуини... Все это мне не вернули, ибо, как ответила на мой запрос прокурор Рижской прокуратуры И. Комарова, — все это является литературой, содержащей «вредные идеи», и подлежит уничтожению. Комментарии излишни. Разве что отметить, что этот ответ Комарова писала уже в разгар «перестройки».

Обыски были по делу москвича, едва мне знакомого, по инициативе О. Леонтьевой, следователя Ждановского района Москвы. Дама эта оскорбляла на обыске мою мать (меня не было дома), а на меня произвела впечатление психически ненормальной, свихнувшейся на ненависти к правозащитникам, евреям, интеллигентам, писателям и вообще к культуре как таковой: русской, латышской...

Но нет худа без добра: злоба и полная профессиональная некомпетентность Леонтьевой, моего следователя В. Ольхова, прокурора Комаровой и других была мне весьма на руку: не был ими обнаружен ни мой основной архив самиздата, ни мои каналы на Запад, а близко было.

Что же касается собственно моего «дела», то риторика и абсурдность обвинений решительно ничем не отличались ни от политических обвинений времен «застоя», ни от времен «культы». Тот же абсурд, та же клевета, те же обвинения в «клевете». Скучно. Интересно лишь вот что. Первое. Процесс надо мной проходил в июне 85 года, то есть уже во времена перестройки, гласности и но-

вого мышления. Тем не менее, он не только все равно проходил в том же абсурдном ключе, но и не вызвал протестов будущих активистов перестройки. Защищала меня русская эмигрантская пресса, участники правозащитного, христианского, еврейского движений, просто добрые люди, помогавшие моей матери. За что и благодарю всех, пользуясь случаем.

Второе — гораздо хуже. Мне ставили в вину мои статьи на религиозные, литературные, исторические темы, опубликованные в самиздате и за рубежом (одну из них я предлагаю вниманию читателя наряду со стихами), доклады на исторические темы на семинаре по еврейской истории и культуре (том самом семинаре, о котором с таким чувством написал Залман Кац, не упоминая, конечно, ни моего участия, ни того, что я пострадал частично и из-за семинара: гласность есть гласность). По моим рукописям и по отобранной у меня литературе была в Москве проведена «экспертиза», на основании которой уже и строилось обвинение в Рижской городской прокуратуре. Я читал ее — она чудовищна. Дело не только в патологическом антисемитизме «эксперта», его ненависти к культуре, невероятном невежестве и очевидном психическом расстройстве на почве «мирового заговора»: неудивительно, автор экспертизы — близкий знакомый Леонтьевой. Страшно то, что в этой «экспертизе» четко и ясно, с несокрушимой логикой параноика излагается взгляд на мировую и российскую историю как на результат еврейско-масонского заговора, одним из агентов которого являюсь я, а также Бердяев, Бухарин, Эренбург, Мандельштам, Цветаева, Антокольский, Алигер, о. А. Ельчанинов (покойный, чего автор экспертизы не знает и приписывает мне связи с «зарубежными центрами» на основании украденной у меня книги Ельчанинова), также Ахматова с «клеветническим» «Реквиемом», ныне здравствующий о. Александр Мень, Т. Горичева и многие другие. Все мы также агенты ЦРУ, Ватикана и не помню кого еще. Я не шучу. Все это действительно написано, последовательно изложены фашистские взгляды — неким Гаркавенко А. Ф., кандидатом

философии, проживающим в Москве, Таганский проезд, 34. Страна должна знать своих фашистов!

Но страшнее другое. Меня вовсе не пугает ни теперешняя антисемитская активность различных псевдопатриотических обществ, ни черносотенные публикации, будь они в «Нашем современнике» или в зарубежном «Вече» — Россия больна, многие бредят. Но когда черносотенным, фашистским является официальный юридический документ, когда этот документ принимается прокуратурой и на его основании строится обвинение и происходит суд, — то это уже что-то говорит об идейном характере самого режима.

Именно это обстоятельство послужило одной из причин моей эмиграции. Ведь все эти «эксперты», «следователи», «прокуроры», «судьи» и сейчас на своих местах, готовы судить и приговаривать за «клевету». А «клевета — это любое мнение, не совпадающее с официальным», — именно так выразился следователь Рижской городской прокуратуры В. Ольхов, состряпавший мое «обвинение». А судья на моем процессе А. Чистяков стал потом замминистра юстиции Латвии — не на моей ли крови?

Отбывая я заключение в «знаменитой» теперь «Семерке» и мог бы рассказать о ней куда больше, чем корреспондент «Огонька», но стоит ли — я же «клеветник», как ославила меня (и это уже непоправимо) газета «Советская молодежь» в невероятно лживой и гнусной статье, через несколько дней после моего отъезда\*. Причем это уже в самый разгар «гласности», и снова ни одного протеста, мое ответное письмо не опубликовано и все как будто так и надо. Гласность это гласность. И та же газета, по лакейскому принципу — чего изволите? — печатает сейчас «перестроечные» материалы — но имею право не верить. Как имею право бойкотировать советские издания за рубежом — поскольку при выезде меня не только заставили выкупать свои

\* Как нам стало известно от руководства газеты «Советская молодежь», данная статья появилась отнюдь не по инициативе редакции, так это бывало в недавние времена. (Ред.)

книги, но запретили вывозить лучшие из них — не антиквар, а просто определённых авторов: Пастернака, Ахматову, Хлебникова, Мандельштама. Основание? — распоряжение начальства, то есть произвол. Говорят, сейчас это отменили, но мне ведь уже не вернуть своих книг.

Вот от чего я уехал — от произвола, ставшего невыносимым. И еще хуже — когда этот произвол «либеральный». Разрешили! напечатали! — восторги рабов. Я не хочу получать свободу из рук палачей и делить ее с палачами. Я обязан палачам навсегда сломанной жизнью — ибо ничто не проходит бесследно, и «нельзя писать стихи после Освенцима» (Теодор Адорно). Я обязан палачам разрушенным здоровьем, эмиграцией, но я не хочу быть им обязанным свободой.

Вот почему я эмигрировал.

Я говорю об эмиграции, хотя живу в героической стране, которая считает меня своим и в которую я поехал, потому что здесь Господня земля и потому что на эту страну и народ сейчас клеветают, как никогда, и превозносят «права» ее врагов (уничтожить эту страну), как никогда, а Господь с теми, на кого клеветают.

Но себя-то я не могу и не хочу переделать, отказаться жить тем, чем жил всегда: русским словом и русской верой. Вот почему я все же эмигрант.

С радостью и сочувствием я смот-

рю на то, как неуклонно движется к независимости страна, которую я люблю и где прожил большую часть жизни, с младенчества. Я верю, что балтийские страны еще могут вернуться в Европу, в цивилизованный мир.

Но с чудовишным государственным режимом — палачом и России, и балтийских стран — я не желаю иметь ничего общего. Впрочем, режим сам сделал для этого все, что мог, не знаю только, зачем. Я не был правозащитником, хотя, конечно, сочувствовал им, — только поэтом и философом, но поэты для государства всеобщего Гулага просто опасны. А возможно, кто-то захотел сделать на моем процессе карьеру.

Боюсь, что этот режим довел Россию до деструкции, распада, и выхода из этого не видно. Примечательно, что и сейчас лицемерие ничуть не уменьшилось: не реабилитированы политзаключенные и не судимы палачи. Берегут, что ли, до новой «перестройки»?

Но я, противник тоталитаризма, антифашист (за это меня и судили), знаю, что есть все же средство против духовной смерти, к которой непрощенные «преобразователи» подвели Россию — Слово: на нем славаги и молитвы, и стихи.

И теперь я прошу забыть все, что я здесь написал. Наша встреча — в стихах.

Владимир ФРЕНКЕЛЬ  
Иерусалим, ноябрь 1989



**Владимир ФРЕНКЕЛЬ** родился в 1944 г. в г. Горьком. С 1946 г. жил в Риге. После окончания средней школы учился на физико-математическом, затем — историческом факультетах ЛГУ. Публиковался в журналах «Сельская молодежь», «Даугава», «Родник», газете «Советская молодежь», в зарубежных изданиях: «Вестник РХД», «Русская мысль», «Беседа», «Народ и земля» и др.; автор статей на литературные, религиозные, исторические темы; переводил стихи латышских поэтов первой половины XX века А. Аустрина, А. Курция, современных латышских поэтов. В 1977 г. в издательстве «Лиесма» вышла книга стихов В. Френкеля «Земное небо».

В 1985 г. поэт был арестован. Освободился в 1986 г. В 1987 г. выехал в Израиль. С 1988 г. — член Союза писателей Израиля.

## ВСТРЕЧА

### СТАНСЫ

Если и жизнь опустела,  
Точно редющий лес,  
То не останусь без дела —  
Я-то пока не исчез.

Ясная, как на ладони,  
Жизнь, и яснее теперь  
Тут, на земном небосклоне,  
Виду ее без потерь.

Радуюсь чистому кругу  
Неотменимых забот,  
Радуюсь книге и другу,  
Нынче-то — наперечет!

Сказка покажется былью  
Нам на крутом вираже,  
Но исторической пылью  
Что-то покрылось уже.

Вечно лишь то, что не вечно,  
То, что у нас под рукой.  
Вот — начинается вечер  
И остается со мной.

1984

## ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ

Не плачь. Сегодня мы вдвоем  
На этой площади под сенью  
Столпа и ангела с крестом,  
И ждем суда или спасенья.

Александрийского столпа  
Немая тайна приоткрыта.  
Спешим, пока еще толпа  
Не заняла нагие плиты,

И черный ангел наклонен,  
Над нами рея неустанно.  
А если мы . . . а если он  
Из Откровенья Иоанна?

Который ангел распростер  
Сейчас крыла свои над нами,  
Неугасающий костер  
Взметнув над русскими полями?

Передраассветная заря  
Растет уже неудержимо  
Над градом мертвого царя  
И над былым величием Рима.

Как мало времени у нас!  
Не плачь. Мы заново полюбим,  
Мы все узнаем в этот час,  
И ничего не позабудем

С тобой, любимая. Смотри —  
Не будет лучшего, чем это  
Явленье призрачной зари  
И невесомого рассвета.

Смотри, такие тут дела,  
Такие плачи и любви,  
Что я . . . что ты меня ждала,  
Что мы не встретились с тобою.

1983

## ПОСТРОИТЬ ЗАМОК

Строим замок в воображенье,  
Населяем его движеньем,  
Собираются там друзья,  
Там с тобою увижусь я.

Словно не было — все, что было,  
То от холода нас знобило,  
Выдувало тепло и свет  
Столько долгих и мерзлых лет.

Мы оставили напрочь вьюгу,  
Мы остались нужны друг другу.  
Тут из окон над головой  
Льется полдень цветной, живой.



Льется свет из витражных рамок,  
Освещает нешумный круг . . .  
Нам успеть бы построить замок,  
В остальном — проживем, мой друг.

1982

\* \* \*

Не говори о печали,  
Не поднимая лица.  
Что́ это было в начале,  
Нам не понять до конца.

Смысла полночных невнятиц  
Не открывай, погоди.  
Непогодь, буря и натиск,  
Осень, а что впереди?

Не от твоих ли гаданий,  
Коим поверить нет сил,  
Не загадаешь желаний,  
Господи . . . все позабыл.

Знаешь ли — в этой науке  
Вижу уроки твои.  
Не говори о разлуке,  
Сбудется — не говори.

1987

\* \* \*

Прощай. Вернее — до свиданья,  
До непощанья, опозданья  
На пять условленных минут,  
До встречи в зале ожиданья,  
Где никого уже не ждут.

Холодным вечером воскресным  
Невнятных слов не позабудь . . .  
До непощанья в мире тесном,  
До встречи в Царствии Небесном  
Когда-нибудь.

1988

## БОГОЯВЛЕНИЕ

1

Цветные стекла. Витраж.  
В храме полутемно.  
Рыцарь, железный страж,  
Сидя, уснул давно.

2

Стрельчатые углы  
Тьмы. Божественной тьмы.  
На острие иглы  
Бесы. Или же мы.

3

Четырехугольный плат  
Ночи на небо пал.  
Спит на скале Пилат.  
Истину он сказал.

4

Будет ли завтра свет?  
Это знает никто.  
Он-то и даст ответ,  
Может быть, не на то.

5

Время уходит вспять  
И обнажает тьму.  
Что там — не угадать  
И не объять уму.

6

Льнут небеса к земле,  
Да и не знать бы нам,  
Что утонул во мгле  
Нерукотворный храм.

1989

\* \* \*

Когда слышу русскую речь,  
То даже не оглянусь.  
Чего страшиться и что беречь —  
Безмолвия не боюсь.

Востоко-запад, Иерусалим,  
Нагроможденье скал,  
Времен, наречий, — зато над ним  
Небо — чего и ждал.

Сосредоточенно углубясь  
В историю, ищешь свет  
Иных времен и меж ними связь,  
И видишь, что связи нет.

Совсем забуду родной язык,  
Его корней торжество.  
Пустыне нужен звериный рык  
И более ничего.

Твердыня каменная древней,  
Прочнее и царств земных,  
И Божий Глас высоко над ней  
До времени не затих.

А там, на западе, меркнет свет,  
Что в полдень сводил с ума.  
Как хищник лапами, следом в след  
Приходит с востока тьма.

1989

\* \* \*

Летучая ли мышь, или ночная птица,  
А может быть, полет опавшего листа,  
Бесследно промелькнет, Бог знает что  
приснится,  
И тень переместит, и ночь уже не та.

Слышней всего во тьме неразличимый шепот  
За много верст отсель, не то за много лет,  
Что невосстановим, и возмещает опыт  
Небывшего нигде, и оставляет след,

И оставляет вдруг впотьмах, в недоуменье,  
В неведение о том, в каких еще слезах,  
В каких еще ночах живет прикосновенье,  
Мгновение одно, в каких еще стихах.

Что я недосказал, что ты недосказала,  
О чем и говорить с незнакомцем вдвоем . . .  
И ночь переместив, мы все начнем с начала,  
С начала всех начал, что в шепоте ночном.

1989

## ВСТРЕЧА

Откуда бы это — привязчивое насаждение —  
Цветные блики, и запах свеч, и каминный чад . . .  
В наше-то время какое может быть пенье,  
И плач младенца, и никто не придет назад.

Все что-то не помню . . . была какая-то встреча,  
Нешумный круг . . . нет, это завтра, потом, потом . . .  
Вот мы и собрались, скажу, здравствуйте, добрый вечер,  
Страшный Суд отложен, да мы его подождем.

Еще подождем друзей, подождем любимых,  
Нелюбимых тоже, любящих нас, родных,  
Еще умерших, еще путешествующих, невозвратимых,  
Имена же Ты, Господи, знаешь их.

И никто из нас не придет назад, никогда ниоткуда  
Никуда не вернется, потому что некуда, потому что нет  
Дальнего берега, и разве что чудо,  
И мы увидим нездешний, ушедший свет.

А мы соберемся здесь, нет, Господне Имя  
Нас соберет, и тогда-то мы воспоем —  
Славься, славься небесный Иерусалиме,  
Господен свет и последний дом.

1989

## В КРУГЕ ПОСЛЕДНЕМ

### ВАРЛАМ ШАЛАМОВ И АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Не много времени прошло со дня смерти Варлама Шаламова, но еще при жизни писателя делались попытки определить значение его страшных свидетельств для русской истории и литературы, а теперь и подавно время. Многим кажется, что Шаламов несправедливо заслонен Солженицыным, что «Колымские рассказы» — глубже, страшнее, обнаженнее, чем «Архипелаг ГУЛАГ», что именно эта беспощадность свидетельства Шаламова испугала в свое время его издателей на Западе, поэтому «Колымские рассказы» не были сначала напечатаны отдельной книгой, а разбросаны по журналам, что поэтому книга Шаламова не произвела того впечатления, как книга Солженицына, что в какой-то мере Солженицыну повезло, а Шаламову — нет. Говорят, так думал и сам Шаламов.

Здесь многое — правда. Да, лагерный опыт Шаламова больше, страшнее, чем опыт Солженицына. Это, кстати, подчеркнул и сам Солженицын. Да, Шаламов писал только о том, что знал; но этого хватило на много. Шаламов сидел — с перерывом — с 1934 до 1957 года, и был в самых страшных лагерях — на Колыме. Оттуда мало кто вышел. Солженицын сидел куда меньше, в лагерях не самых страшных, да еще полсрока отхватил на «шарашке». Солженицын

основывает свое исследование не только на собственном опыте, а на опыте многих и многих, чьи свидетельства ему стали известны, на исторических разысканиях. К сожалению, иногда Солженицыну изменяет чувство достоверности — есть эпизоды, рассказы, несомненно представляющие лагерный фольклор, но описанные как истинные. Свидетельству же Шаламова можно верить всегда. Верно и то, что, собранные вместе, «Колымские рассказы» могут привести чуть не в шоковое состояние — и это предопределило судьбу их первоначального издания. Ни Россия, ни Запад не были подготовлены к такому беспощадному свидетельству. Ведь даже «Один день Ивана Денисовича» вызвал какую бурю! А ведь там говорится о «лагере, в котором можно жить и жить!», по выражению Шаламова. И не терять человеческого достоинства, как не теряет его Иван Денисович. В колымских же лагерях можно было только умирать, и ломались там почти все. Поэтому-то ни один из рассказов Шаламова не был опубликован на родине автора: советская литература не любит «безысходности». И имя Шаламова не стало столь широко известным, как имя Солженицына.

Все это правда, но — смею думать — не вся, и даже не главная правда. Есть причина, почему внима-

ние современного русского — и не только русского — читателя все-таки более привлечено к Солженицыну, чем к Шаламову. Причина эта не случайна, она — в творческой, человеческой позиции самих этих двух писателей.

Но обратимся сначала к Шаламову.

Ровный, почти бесстрастный голос, отсутствие резких эмоций, даже оценки происходящего; сценка, еще сценка, эпизод, без комментариев или почти без них, долгая цепь, как вереницы лагерных дней; и все это в немногих, жестких, как бы через силу произносимых словах; и надо всем неяркий, но вездесущий свет, точно северное солнце плывет над тундровым горизонтом. Таков Шаламов, такое впечатление с самого начала от его рассказов, и оно уже не изменится. Спешу заметить, что я вовсе не собираюсь анализировать прозу Шаламова, а хочу лишь с самого начала утвердить: Шаламов действительно большой писатель. Любопытно, что его поэзия слабее прозы, то есть стихи, конечно, «на уровне», но в них слишком много «общелитературного», не многие из них хочется повторять, запомнить. А прозу Шаламова забыть нельзя. Не изусть, конечно, запомнить, а нельзя забыть сам факт существования этих рассказов, коль скоро прочел даже некоторые из них.

Но при всем том от этих рассказов остается кроме ощущения четкости и зримости слова еще какое-то странное, гнетущее чувство, вроде страшного сна, который ни вспомнить, ни забыть. Отчего это? Да, сами рассказы о страшном, но ведь Шаламов вовсе не хочет нас пугать, он не нагнетает ни ужасов, ни эмоций, он просто рассказывает, свидетельствует. Отчего же — не испуг, а вот именно тоскливое чувство, помимо того страшного, что нам довелось узнать. Если Солженицын вызывает самые противоречивые чувства: мы то вместе с ним, то против него — ужасаемся, скорбим, радуемся, негодуем, соглашаемся, не соглашаемся, смеемся, плачем, верим, не верим, то Шаламов все чувства сводит к одному, всепоглощающему и непереносимо тягостному. И, как мне кажется, это вот отчего: в рассказах Шаламова нет времени. Как нет его в

том мире, который рисует Шаламов. Время остановилось, и нет, не было и не будет ничего другого нигде никогда, только этот страшный и одновременно ставший бытом лагерный мир, почти уже не жизнь. В этом — высший реализм шаламовской прозы. Надежда Мандельштам очень точно замечает, что у нас пытались именно остановить время, создать ситуацию, которая бы уже никогда не могла измениться. От себя добавлю: эта попытка возможна только тогда, когда миф начинает заменять действительность — ведь именно в мифе нет времени. Так вот, лагерная действительность и есть осуществленный миф, конечная стадия попытки остановить время, заменить реальную жизнь утопией, вымыслом, стадия, к которой, оказывается, можно прийти и минуя «промежуточные станции». В этом мире у человека оборваны все земные связи, он живет как бы уже после смерти, и когда умирает, то как бы и не жил. Эта осуществленная остановка времени и есть самое главное свидетельство Шаламова, оттого он именно свидетель, бесстрастный, спокойный, и в самом этом бесстрастии уже заключено главное свидетельство: это как бы голос из царства мертвых.

Но Шаламов вернулся в мир живых, и тут-то оказалось, что его правда и сила — свидетельство о безвременье — есть и его беда. Потому что Шаламов не только свидетельствует: в своей прозе он уже этим живет.

Постараюсь объяснить. Почти никогда Шаламов не проявляет своего отношения к тому, что описывает. Тем более значимы эти редкие случаи, когда чуть не против воли у него вырывается: этого не должен видеть ни один человек! Царство мертвых у Шаламова есть только царство мертвых, и живому там нет места, совсем как в древних мифах. Шаламов был на самой глубине лагерного ада, и он убежден, что в этой глубине человек не может остаться человеком. Поэтому людям об этом даже не надо бы знать. Но — странное противоречие! — Шаламов тем не менее рассказывает нам именно о том, о чем бы не знать, и не может уйти от этого, не может не свидетельствовать. Не потому ли, что для русского писателя такое «схож-

дение во ад» не есть только личное испытание? Надо было обладать могучим воображением Достоевского, чтобы в его «мертвом доме» (который, по нынешним меркам, и на ад-то не похож) увидеть то страшное, что едва тогда брезжило в идеях, увлекавших не одного Достоевского: ужас насильственного общежития. Тогда-то Достоевский и начал понимать, что высшим практическим достижением увлекавшей его ранее идеологии будет лагерь. Но новое время ставит новые задачи. И Шаламов и Солженицын ставят вопрос: пусть (как и Достоевский полагал) страдание очищает, но непомерное страдание не ломает ли человека? Можно ли остаться человеком в лагерном аду? Солженицын отвечает, по примеру Достоевского, антиномией. Он пишет две главы на тему, причем в первой показывает, что человеком остаться в лагере нельзя, а во второй — что можно и должно, но и эту заканчивает так: «А в ответ я слышу хор голосов: хорошо тебе теперь говорить, ты жив остался».

Для Шаламова же антиномии нет. Он убежден, что эта глубина ада, из которой чудом вышел он сам, уже есть окончательная и безусловная гибель, что-то совсем нечеловеческое, и не находит, даже не ищет мостов между этой бездной и миром живых людей. Вот почему: «не должен видеть человек» — между двумя мирами нет и не может быть ничего общего. Потому-то Шаламов только свидетель. Он не задается вопросом: как это могло случиться, где начала и концы нашей национальной трагедии: ведь это бы значило все-таки преодолеть остановку времени, включить и этот последний круг ада — в историю, которую можно осмыслить и понять. Шаламов же убежден, что понять в этом нечеловеческом мире ничего нельзя и с миром людей он несвязуем. И тут-то мы, потрясенные свидетельством Шаламова, чувствуем, что не можем связать этот страшный круг безвременья — с нашей жизнью, с нашей историей, с нашим, пусть ущербным, но все же временем. Мир Шаламова камнем идет на дно нашего сознания, и нам тягостно и страшно. И мы обращаемся — и не случайно — к Солженицыну.

У него все иначе. Он если и загля-

дывает на дно ада — не остается там навсегда, не верит, что возможен какой-то нечеловеческий круг, не имеющий отношения к обычной жизни и времени. Любопытна как бы ступенчатая структура лагерной темы у Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» — лагерь, «В круге первом» — «шарашка», «Ракетный корпус» — ссылка, больница, «Матренин двор» — воля, но воля бывшего ссылного, воля в деревне, немногим отличающаяся от ссылки. Солженицын создает как бы несколько промежуточных ступеней между последним кругом ада и «нормальной жизнью». Потому и лагерь — такой, в котором «можно жить и жить». А в «Архипелаге» собраны все те же ступени, и более того: открывается измерение истории, и Солженицын ведет нас вдоль цепи, приведшей к Гулагу. История «потоков» репрессий, история лагерей, история «органов». История нашего общества и нашего нравственного одичания. Время присутствует явно и неоспоримо, и как бы ни был ужасен какой бы то ни было «круг» — он уже не отторжен от нашей жизни. То, что случилось, случилось со всеми нами, и колокол звонит по тебе.

Вспоминается роммовский «Обыкновенный фашизм». В этом фильме очень мало «страшных» кадров, хотя набрать их можно бы много. И мы бы плакали, ужасались, негодовали, но выходили бы из зала с мыслью: это про каких-то нелюдей, это не про нас, слава Богу, это не про нас! Но на экране именно «обыкновенный» фашизм в обыкновенной жизни, и мы с ужасом узнаем его сходство с нашей, тоже обыкновенной жизнью. Так и у Солженицына «обыкновенный» коммунизм, тот самый, в котором можно жить и жить и мы все живем, не замечая, как сползаем в духовную смерть.

Но оказывается, что и сама лагерная тема — только ступень, и не главная для Солженицына. Главная тема, о которой он думал с юности, — история и истоки русской национальной катастрофы: первая мировая война, революция. Это ведь так все началось, и начало последнего круга ада — тоже там. Мир Солженицына, с одного лагерного дня, все расширяется, и неудивительно, что расширяется, становится глобальной жизнью

и судьба самого писателя. И это уже не случайность.

Не случайность и судьба Шаламова. Говорят, что к концу своей жизни он замкнулся, отъединился от всех. И еще пришла слепота. И еще было отречение, подпись под нелепой бумажкой, конечно, не им сочиненной. Нелепость формулировки «проблематика «Колымских рассказов» снята жизнью» очевидна для всех. Этак можно перечеркнуть всю мировую литературу, начиная со старика Гомера: что и говорить, «проблематика» Троянской войны давненько уже неактуальна!

Что же означает это отречение, так огорчившее и изумившее друзей и поклонников Шаламова? Мне думается, Шаламов проявил слабость именно потому, что не сумел, да и не хотел найти выход из безвременья последнего круга — в живую историю. Точку опоры можно обрести только в истории; там же, где нет времени, нет и реальности, не на что опереться. И потому все сужался и сужался жизненный круг Шаламова, а последней точкой могла стать только смерть.

Но не будем судить. Да, не случайно Солженицын привлекает больше внимания: он не согласен «отменить» время, не согласен, что наша страна должна навеки впасть в иллюзорный мир мифа; и он восстанавливает связь времен — то, что необ-

ходимо всем нам. Шаламов же — свидетель, только свидетель, но свидетельствует он о той бездне, где свидетель — только он. Ведь он все же, вопреки самому себе, рассказал о том, что нельзя видеть и знать человеку, он, неверующий, отслужил панихиду по миллионам погибших в последнем круге, тоже неверующих в большинстве своем. И пусть Шаламов сам надорвался, духовно остался в том же последнем круге — мы не можем его судить. «О Боже мой, он был в аду!» — схождение в ад ни для кого не проходит бесследно. Я имею в виду именно то, что Шаламов захотел и смог вспомнить и описать — это схождение было тяжелее первого. Недаром бывшие лагерники не хотят вспоминать.

Ангел в Апокалипсисе сказал о Царстве Божием, где тоже «времени больше нет», но есть полнота бытия. Но в той же книге мы читаем о бездне, где не только времени нет (пародия сатаны на Царство Божие), но и ничего нет — небытие. Шаламов свидетельствует нам об этой бездне, и не со стороны — «из глубины» взывает, хотя он сам и не знает — кому. Ведь не только о физическом, — о духовном распаде в круге последнем свидетельствует Шаламов. И еще о том, что мы все, вся Россия в эту духовную бездну уже заглянули. Что же дальше?

**Владимир ШУМИЛОВ,**  
кандидат юридических наук

### ПОРТРЕТ ИЛИ ИКОНА?

В 55-м томе последнего собрания сочинений Владимира Ильича Ленина воспроизведено красноречивое признание Марии Ильиничны Ульяновой: «... Ленин как человек, с его разносторонней индивидуальностью, обрисован до сих пор крайне недостаточно или не обрисован почти совсем». Эту фразу, видимо, можно было бы предпослать всей обширнейшей, доступной нам на сегодня Лениниане.

Как случилось, что чем дальше от него по времени, тем все менее и менее «человеческого» оставалось от человека, «потрясшего мир»? Вот и приходится интересующимся — каждому самому, пусть по-дилетантски — своим путем искать ответ на вопрос: а каким же все-таки был «настоящий» Ленин? Помните, Моруа приводит слова Бальзака: «В гении то прекрасно... что он похож на всех, а на него — никто»?

И вот уже вместо человеческих глаз, с добрым ли прищуром или с огоньками гнева, перед нами лик, зорко наблюдающий из глубины. И приближаться к нему нельзя: мало ли что можно увидеть.

А ведь вполне естественное желание — всмотреться, понять. Неужели он никогда не был несправедлив или некорректен в споре? Ему не было ведомо такое человеческое чувство, как зависть? Он никогда никому не хотел отомстить? Никого в жизни не обманул? Всегда был верен единственной женщине? Был чужд тщеславию? Быть может, хотя бы плакал по ночам в детстве? Был одинок?

Никогда не испытывал двойственности? Но ведь не «прямая же линия» он был? Была же у него в жизни хоть одна какая-нибудь глупая фантазия? Вот тогда бы он был «похож на всех». И уж во всяком случае больше бы походил на правду.

Вожизм, замешанный на культуре личности, на авторитарной культуре, стал опорой единомыслия в России. И пока мы не научимся смотреть на вождей в их человеческом измерении и видеть их такими, какие они есть или были, до тех пор мы не будем цивилизованным обществом. Уметь смотреть так — этому тоже нам всем надо учиться.

Наше время — время пересмотра «легенд», в первую очередь за счет нового знания, включающихся в научный и общественный оборот «открываемых» документов, снятых с полок воспоминаний и исторических свидетельств. Однако неизвестно даже, существуют ли в наших архивах какие-либо до сих пор не преданные гласности работы Ленина или работы с его пометками, не скрыты ли там еще чьи-либо воспоминания, не укладываемые в исторический трафарет? Судя по признаниям старейшего архивиста страны С. Житомирской, проблема доступности исторических документов, отсутствия информации о них — это надолго.

Ну, а пока наиболее достоверными свидетельствами развития личности и характера Владимира Ильича, его мировоззрения остаются его собственные сочинения. Как говорят: ничто лучше не скажет о человеке,



чем то, что написано им самим. Обратимся к первоисточнику — произведениям Ленина, чтобы лучше понять его как человека. Конечно, следует сразу оговориться, что многое из настоящего портрета все равно останется за рамками этого самостоятельного исследования. Историческую личность может охватить только история. Но некоторые неприятные вопросы все же придется задать.

Непривычные краски к «настоящему» портрету почти сразу же бросаются в глаза. Не привыкли мы читать Ленина в оригинале. Для нас важны не только логика рассуждений и аргументы, но и характерные словечки, даже брань («сволочь идеалистическая» — о Гегеле, «пустозвон» — о Троцком, «истасканный истеричный хлюпик» — о Толстом, «Везде у Шульце-Геверница тон . . . торжествующей свиньи!!!!», «Величайший мерзавец!», отдельные фразы, отточенные до афористичности («На . . . бесправии держится вся азиатчина в русской жизни»), вплетенные в канву рассуждений пословицы («. . . первая рюмочка колом, вторая — соколом, остальные — мелкими пташечками»).

Помогает и то, что Ленин сам производит характеристики, которыми наделяют его в том или ином случае политические противники. Делая определенную скидку на горячность борьбы, на момент, все же следует присмотреться ко всем этим характеристикам. Вот «Шаг вперед, два шага назад»: «Заряды посыпались градом. Самодержец, Швейцер, бюрократ, формалист, сверхцентр, односторонний, прямолинейный, упрямый, узкий, подозрительный, неуживчивый . . . Очень хорошо, друзья мои! Вы кончили? Плохи же ваши заряды . . . Теперь слово за мною».

Или: «Мне говорят, что Ленин только и делал, что беспрестанно повторяя по адресу оппозиции: «Слушайся и не рассуждай!» . . . Это не совсем так. . . Я не только говорил: «слушайся и не рассуждай», но и уступал».

Страница за страницей. Том за томом. От первых статей до политического завещания. Великая жизнь проходит перед нами. И совершенно неожиданно за уходящими строчками начинают угадываться раздумья и сомнения, натиск и боль. «Вот она,

судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма . . .»

И где-то в глубине, едва приметно глазу, беспокоящие нотки. Угадывается работа мысли над переоценками, идут слова, граничащие с предвидением, с откровенными или горькими признаниями. «Какое социализм будет, когда достигнет готовых форм, — мы этого не знаем, этого сказать не можем». «Когда я сам был эмигрантом (больше 15 лет), я несколько раз занимал «слишком левую» позицию (как я теперь вижу)». «Мы представляли себе . . . грядущее развитие в более простой, в более прямой форме, чем оно получилось». «Ужасно боюсь, что мы околеем от переорганизации, не доведя до конца ни одной практической работы».

Теперь уже ясно, что последние 2—3 года Ленин был другим. Именно этот другой Ленин выдвинул, по словам академика Г. Смирнова, идеи хозрасчета, связи личной и коллективной заинтересованности, смело шел на конвертируемость «золотого» рубля, учет местных интересов, применение аренды и концессий, развитие самостоятельности трестов, синдикатов, кооперативов.

Шаг за шагом Ленин преодолевал разрыв между своими прежними представлениями и реальной действительностью, нащупывая приемлемые пути и средства. Сказывалось и отсутствие опыта государственной работы, практическое незнание, вследствие многолетней оторванности от России, ее реалий.

Б. Бурсов в романе-исследовании о Достоевском вывел очень меткую формулу: «Гений — аккумулятор всеобщего опыта, почему намного опережает свой собственный жизненный опыт».

Нет сомнений, что это относится и к Ленину, особенно к Ленину 1922—1923 гг. Своей мыслью и делами он подгонял время, и в этом он — выдающаяся личность. Но он не всегда понимал, что и ответственность на нем — историческая. Ведь если люди дают жизнь роднику, они тоже отвечают за то, что может натворить бурное течение в низине.

Тем более, что Ленин, как вдруг отчетливо проявляется из его работ, всю жизнь исповедовал принцип, не

раз уже осужденный в прошлом: **цель оправдывает средства.**

В 1907 году в речи на V съезде РСДРП по докладу о деятельности думской фракции он отметил: «Бebelь, дескать, сказал: если нужно для дела, хоть с чертовой бабушкой войдем в сношения. Бebelь-то прав, товарищи: если нужно для дела, тогда можно и с чертовой бабушкой».

В 1918 году Ленин поясняет эту идею на примере: «Положим, Каляев, чтобы убить тирана и изверга, достает револьвер у крайнего мерзавца, жулика, разбойника, обещая ему за услуги принести хлеб, деньги, водку. Можно осуждать Каляева за «делку с разбойником» в целях приобретения орудия смерти? Всякий здравый человек скажет: нельзя. Ежели Каляеву негде было иначе достать револьвер и ежели дело Каляева действительно честное (убийство тирана, а не убийство из-за грабежа), то Каляева не порицать надо за такое приобретение револьвера, а одобрять».

После революции «фанатизм цели» подкреплялся революционной практикой военного времени. Выступая на пленуме ВЦСПС в 1919 году, Ленин спрашивает: «... Что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, виновных или невиновных, сознательных или несознательных, или потерять тысячи красноармейцев и рабочих?» И отвечает: «Первое лучше. Пусть меня обвиняют в каких угодно грехах и нарушениях свободы — я признаю себя виновным, а интересы рабочих выиграют».

«Ленинская гвардия, — замечает Ф. Бурацкий, — верила в то, что она начинает революцию, которая вот-вот грядет во всем мире. Поэтому гибель нескольких миллионов белых и красных — ничтожная плата за коренное переустройство жизни всего человечества». В качестве информации к размышлению следует добавить, что с осени 1917-го по 1922 год численность населения страны, как считают, сократилась на 13 миллионов человек, из которых эмигрировало около 2 миллионов или больше.

Оказывается, если читать не наши учебники истории (в том числе и истории КПСС) и не наших некоторых историков, а для начала хотя бы только работы самого Ленина, то совер-

шенно неожиданно многие расставленные уже официально акценты требуют существенного пересмотра.

Оказывается, Ленин вернулся в 1917 году в Россию из эмиграции, полный жажды «великих потрясений» и классового нетерпения, — «всего лишь» зажигать мировую революцию, в которой Россия должна была сыграть роль... первой спички что ли. Или испытательного полигона. Задача стояла: изменить, разрушить до основания «весь мир насильем» («А мы хотим перестроить мир...»).

«Русским рабочим выпала на долю честь и счастье первым начать революцию...», — пишет Владимир Ильич в марте 1917 года.

Апрель 1917 г.: «Русский пролетариат не может одними своими силами победоносно завершить социалистической революции. Но он может придать русской революции такой размах (усилия революционеров по расширению «размаха» были заметны. — В. Ш.), который создаст наилучшие условия для нее, который в известном смысле начнет ее. Он может облегчить обстановку для вступления в решительные битвы своего главного, самого верного, самого надежного сотрудника, европейского и американского социалистического пролетариата».

Июнь 1917 г.: «Примеру русских рабочих последуют неизбежно — может быть, не завтра (революции не делают по заказу), но неизбежно — рабочие и трудящиеся по крайней мере двух великих стран: Германии и Франции».

Май 1918 г.: «... Пока не вспыхнула международная, несколько стран охватывающая, социалистическая революция, настолько сильная, чтобы она могла победить международный империализм, до тех пор прямой долг социалистов, победивших в одной (особенно отсталой) стране, не принимать боя с гигантами империализма, стараться уклониться от боя, выжидать, пока схватка империалистов между собой еще более ослабит их, еще более приблизит революцию в других странах».

Июнь 1918 г.: Ленин вновь дает оценку российской революции, «которая вовсе не особой заслугой русского пролетариата вызвана, а ходом общего шествия исторических событий, которыми этот пролетариат по-

ставлен волей истории временно на первое место и стал на время авангардом мировой революции.

Декабрь 1918 г.: «Вы знаете, что Англия, Франция, Америка, Испания смотрели на наши действия, как на эксперимент, а теперь они смотрят иначе: они смотрят, все ли благополучно в их-то собственных государствах».

Март 1919 г.: «Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире, мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов».

Ноябрь 1921 г.: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думаю мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира».

Послушаем Герберта Уэллса (1920 год):

«Через весь наш разговор проходили две — как бы их назвать — основные темы. Одну тему вел я: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?» Вторую тему вел он: «Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтоб подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?» Эти темы переплетались, сталкивались, разъясняли одна другую. Вторая тема возвращала нас к первой: «Что вам дала социальная революция? Успешна ли она?» А это в свою очередь привело ко второй теме: «Чтобы она стала успешной, в нее должен включаться западный мир. Почему это не происходит?»

... Рядовой коммунист начинает негодовать, если вы осмелитесь усомниться в том, что при новом режиме все делается самым лучшим и самым разумным способом. Он ведет себя, как обидчивая хозяйка, которая хочет, чтобы ее похвалили за образцовый порядок в доме, хотя там все перевернуто вверх дном из-за поездки на новую квартиру. . . . Но Ленин с откровенностью, которая порой ошеломляет его последователей, рассеял недавно последние иллюзии насчет того, что русская революция означает что-либо иное, чем вступление в эпоху непрерывных исканий. . . .».

Однако надо признать, Ленин всегда был политически честным, преданным своим принципам. А это и сейчас большая редкость. Не в том, конечно, смысле, что никогда не использовал, так сказать, сомнительные политические приемы, в конечном счете не оправдавшие себя. Было, использовал: например, «. . . была необходимая полоса пропаганды декретами; это было нужно для успеха революции». (В мае 1918 года, когда в Петрограде царил голод, наступали белогвардейские войска, Ленин, по воспоминаниям Н. К. Крупской, проводил в жизнь декрет о бесплатном детском питании, а в июне, в день, когда пришла весть об измене одного из гарнизонов, — постановление СНК, распространяющее действие декрета на другие местности и на детей до 16 лет.) А в том смысле он был честен, что честен перед собой, своей совестью, умел отрешиться от личных симпатий и антипатий в действиях и суждениях, был политически верен себе, а еще точнее — верен своей идее. С юношеских дней. Может быть, со смерти брата, погибшего на виселице.

Идеей революции, работой на нее, кажется, пронизан каждый миг его жизни, каждое движение, каждая мысль. Даже в минуты отдыха. Своей цели он отдавал всего себя.

Ссылка в Минусинске (1898 г.), вместе с Надеждой Константиновной: «. . . только и делают», что занимаются переводом «Теории и практики английского тред-юнионизма». В праздничный день «мечтают о мощных демонстрациях».

В Лондоне: для прогулки ходили на кладбище, где похоронен Маркс. Или: «лезет на живописную гору, а думает совсем не о горе, а о меньшевиках. . .». В Париже: только из одного музея Владимир Ильич «никак не мог уйти — это музей революции 1848 года, помещавшийся в одной комнатке. . .».

С приходившей в 1919 году в гости Инессой Арманд «особенно любил говорить о перспективах движения». Н. К. Крупская отмечает: «Никогда не мог бы он полюбить женщину, с которой бы он расходился во взглядах, которая не была бы товарищем по работе».

Возникает вопрос о том, в какой степени соотносятся жестокости ре-

волюции с личностью ее вождей, в том числе и В. И. Ленина. Наивно было бы полагать вчерашнего триумфатора, находившегося в окружении классовых врагов, эдаким ласковым дедушкой, гладящим по головке всех встречных ребятишек. Нет, «кто боится испачкать себе руки, пусть не берется за политическую деятельность».

Личная позиция Ленина предельно обозначена и четко прослеживается. Начиная с «С чего начать?», где он говорит: «Принципиально мы никогда не отказываемся и не можем отказываться от террора». Кончая, скажем, «Все на борьбу с Деникиным!» (июль 1919 г.): «Некоторые из «левых» меньшевиков и т. п. . . . особенно любят возмущаться «варварским», по их мнению, приемом брать заложников. Пусть себе возмущаются, но войны без этого вести нельзя, и при обострении опасности употребление этого средства необходимо, во всех смыслах, расширять и учащать».

Характерны предложения и указания Ленина после революционного периода. «... Ввести круговую поруку всего отряда, например, угрозу расстрела десятого, — за каждый случай грабежа». «Советская власть немало расстреляла уже таких должностных лиц, которые попадались, например, во взяточничестве, и борьба против подобных негодяев будет доведена до конца».

В «Предложениях о работе ВЧК»: «Более строго преследовать и карать расстрелом за ложные доносы».

В «Дополнении к проекту вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР . . .»: «Добавить: расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы. . . По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)».

В «Проекте постановления Совета Обороны о мобилизации советских служащих»: «Мобилизованные отвечают по круговой поруке друг за друга, и их семьи считаются заложниками в случае перехода на сторону неприятеля или дезертирства или невыполнения данных заданий и т. п. . . .».

В «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицын приводит следующие цифры: только за полтора года (1918-й и половина 1919-го) и только по 20 губерниям центральной России рас-

стрелянных ЧК, т. е. бессудно, было 8389 человек. А если считать, что и ревтрибуналы выполнили по крайней мере такую же судебскую работу, «мы найдем, что за 16 месяцев было расстреляно более 16 тысяч человек, т. е. более тысячи в месяц».

Диктатура, по Ленину, — это «власть, не связанная никакими законами». Не в этом ли корень того ничем не оправданного, что творилось в ту пору и еще долго после?

В этот период встал даже вопрос о совместимости единоличной диктаторской власти с демократической организацией общества. В варианте статьи «Очередные задачи Советской власти» читаем: «Недавно . . . возник вопрос о том, насколько единоличная распорядительная власть (власть, которую можно было бы назвать властью диктаторской) совместима с демократическими организациями вообще, с коллегияльным началом в управлении — в особенности, и — с советским социалистическим принципом организации — в частности. Несомненно, что очень распространенным является мнение, будто о таком совмещении не может быть и речи, — мнение, будто единоличная диктаторская власть несовместима ни с демократизмом, ни с советским типом государства, ни с коллегияльным управлением. Нет ничего ошибочнее этого мнения».

В известном смысле ценность «идеи» о переустройстве мира, носителями которой являлись революционеры, ленинская гвардия, обладала приоритетностью перед ценностью «Человека». «Классовое» неизменно определяло (и подавляло) «человеческое». Это как накрыть спящего товарища одеялом, думая не о товарище, а об использовании его назавтра для классовой борьбы. Неизбежным следствием такого подхода была дегуманизация политики. Гуманистические основы перекрывались жестким, неумолимым рационализмом. Не это ли всегда отличало больших политиков? Правда, в этом случае придется признать, что политика — довольно циничная вещь. Пусть погибнет половина человечества, зато остальные будут счастливы при социализме — не таков ли был общий рефрен?

Недостатком этого стиля мышления является, как известно, почти

религиозная нетерпимость, неразличение полутонов: кто не с нами, тот против нас. Только «черное» («красное») и «белое». А все, что не отвечало интересам рабочих и крестьян, было воззрениями «деклассированного мелкобуржуазного интеллигента», «мелкособственнической психологией», «индивидуалистическими теориями» и т. п. Не отсюда ли и недоверие к интеллигенции? («Опирайтесь на интеллигенцию мы не будем никогда...»). Не отсюда ли традиции «бдительности»: помещики и капиталисты «попрыгались, попритаились, перерядились», «надо всеми силами выслеживать и вылавливать этих разбойников, ... разоблачать их и карать беспощадно».

Отделение от «общечеловеческого» имело только одну перспективу — духовную и материальную автаркию в рамках земной цивилизации, утрату или деградацию нравственных ценностей и ориентиров, политическую диктатуру, основанную на культе личности, и рано или поздно экономический застой.

Революционная нетерпимость проявилась, в частности, и в отношении к памятникам. По предложению Владимира Ильича в 1918 году в Москве, как пишет комендант Кремля П. Мальков, были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле Храма Христа Спасителя, генералу Скобелеву, — напоминавшие о самодержавии.

В централизованном государстве уже начали — пока еще исподволь — действовать законы аппарата, питаемые авторитарно-патриархальной политической культурой, — пока еще не осознаваемые, но уже имевшие впереди, через годы, свое законченное следствие — Административную систему.

Объективная ситуация тогдашней России складывалась таким образом, что в представлениях, мировосприятии основной массы трудящихся вожди революции без особых усилий со своей стороны могли заполнить ставшее вакантным место российского царя. Это вызывало у революционеров и раньше определенные тактические сложности. Об этом пишет А. И. Ульянова-Елизарова: «Как подходить с разговорами о политике к серым рабочим, для которых царь — второй бог?..»

Законы зарождения и развития Административной системы, находившиеся в инкубационном периоде и только концентрировавшие свою ударную силу, были густо замешаны на непрофессионализме, некомпетентности бесчисленного множества «шариковых» на всех уровнях.

Новые функционеры нутром почувствовали эти законы, получавшие выражение в знакомых нам проявлениях. Вот предприимчивый английский скульптор прибыл в Москву, чтобы лепить бюсты Ленина и Троцкого. А то комендант Кремля Мальков в голодное время услужливо принесет Ленину ведро халвы (которое тот отправит детям). А вот Буденный везет подарки прямо с «полей боев» (см. «Записки коменданта Московского Кремля»).

Отменен свободный вход в Кремль. Г. Уэллс свидетельствует об утомительных формальностях, связанных со встречей с Лениным: «Уже в воротах нас ожидала возня с пропусками и разрешениями. Прежде чем мы попали к Ленину, нам пришлось пройти через пять или шесть комнат, где наши документы проверяли часовые и сотрудники Кремля. ... Это затрудняет живую связь России с ним...» А где же известная доступность Ильича?

А вот Бонч-Бруевич «вовремя» самочинно повышает жалование вождю мирового пролетариата с 500 до 800 рублей. Ленин сердится: «... Объявляю Вам строгий выговор».

На местах разложение шло полным ходом. Самочинство местных властей не знало предела. Некто Балашов, в прошлом ученик Н. К. Крупской, в 1919 году организовал артель, взяли они наряд у Красной Армии, вырастили замечательную капусту. А комитет крестьянской бедноты забрал всю капусту себе. Балашова посадили в тюрьму. Дело распалось.

Известно грустное признание Ленина в письме Г. Я. Сокольникову: «Первый раз я ехал по железным дорогам не в качестве «сановника», поднимающего на ноги все и вся десятками специальных телеграмм, а в качестве неизвестного, едущего при ВЧК, и впечатление мое — безнадежно угнетающее».

Правда, Владимир Ильич, надо признать, умел быть жестким: «... Не полагаться на приказы! Без тройной

проверки у нас все изгадят и ничего толком не сделают».

В связи с сегодняшними проблемами разграничения властных функций интересно проследить, какими тогда были взаимоотношения между партией, органами государственной власти и управления. Возглавляя исполнительно-распорядительный орган Республики, Ленин грозит официальным лицам Советов, представителям власти на местах: «... членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела».

Он пишет: «... Настаиваю самым энергичным образом, чтобы ЦК 1) предписал ЦИКу дать всем членам коллегии (и близким к этому положению) по 5000 рублей единовременного пособия; 2) перевести их всех постоянно на максимум специалиста...». (Кстати, не отсюда ли пошла традиция «кормушек» и «льгот»?) Но что значит: ЦК предписать ЦИКу?

А между тем в партии уже шла борьба за первенство, за посты. Ленина неминуемо оттерли бы более способные к тактике аппаратных игр. Нить судьбы революции, которую долгие годы чувствовал Владимир Ильич, стала ускользать. Трагедия мыслителя?

После покушения на него и относительного выздоровления постепенное удаление Ильича от дел обставилось заботой о его здоровье. Сколько легко узнаваемого во всем этом.

Надежда Константиновна вспоминает случай: Ленин очень хотел выступить на собрании. Просит: «Дайте слова на  $\frac{1}{4}$  часа выступления, я приеду и уеду назад. Завтра утром пришлите за мной машину...» Но согласия на приезд не получил. «Знал, что машины за ним не пришлют, а все же в этот день сидел у дороги и ждал...»

Так каким же был «настоящий» Ленин? Неизвестный нам до сих пор Ленин. Человек действия и идеи, который отдал ей сердце, душу и жизнь? Гений трудящихся, несший в себе — увы — элементы классовой ограниченности?

Конечно, оценки, суждения и размышления, изложенные здесь, вполне могут иметь альтернативные точки зрения. Каждое слово, каждый шаг Ленина, очевидно, могут быть истолкованы и как-то иначе, в другой логической системе. Главное — приблизить образ исторической личности к живой, настоящей правде.

Борис РАВДИН

## СТРАНИЦА БОЛЕЗНИ

Героям, находящимся на пороге смерти, русские писатели часто отводили время и страницы для подведения итогов, осмысления пройденного пути. Такая же возможность — более полугодом — была предоставлена в распоряжение одного из отечественных революционеров, основателя Советского государства В. И. Ульянова (Ленина). Сумел ли он распорядиться пороховым временем? Как отразилась на его размышлениях пограничная ситуация? Болезнь лишила Ленина способности говорить и писать, ограничила возможности движения, но оставила в его распоряжении сознание. Можно ли проникнуть в мыслительный про-

цесс, дешифровать фрагменты поведения?

Размышления, связанные с приближающимся финалом, стали проявляться не позднее второй половины 1921 года. К этому же времени относится и фиксированный сдвиг в его мироощущении, вызванный и нежеланием России покорно следовать в уготованные кущи, и неспособностью советской администрации эффективно управлять страной, и отсутствием реальных признаков приближающейся мировой революции.

Давно решенные вопросы — кто виноват? что делать? — выплывали из небытия. И было не совсем понятно, в каком плане их решать: в кар-

динальном или частном. Судя по тому количеству мелочных дел, которые, к удивлению окружающих, занимали Ленина в 1921—1922 гг., он очень хотел увидеть в этих вопросах их частное происхождение: виноваты, скажем, чиновники — наказывать, проконтролировать, сменить, еще раз проконтролировать, карать... Виновато временное структурное несовершенство аппарата — улучшить, усовершенствовать, реорганизовать, перестроить на знакомых основаниях.

Однако сколько ни бился Ленин над разрешением проблем, которые он долго никак не хотел признавать лишь производными, сроки реализации конечной программы приходилось отодвигать все дальше и дальше, ее контуры должны были становиться все более зыбкими, а вопросы все более четкими. И вместе с вопросами пришла быстрая утомляемость, постоянная раздражительность, гневливость, повышенная чувствительность к шуму, температуре, участились приступы бессонницы. Осенью 1921 года Ленин говорил брату о «нежелании работать».

Последний феномен нельзя объяснить только развивавшейся болезнью, как считал Д. И. Ульянов. Когда партнером Ленина выступала за граница — дела о концессиях, международных конференциях, эпизод со Всероссийским комитетом помощи голодающим... — трудоспособность и энергия Ленина немногим отличались от прежней. Но там, где дело касалось внутренней жизни страны и партии, он уже не всегда понимал, как следует распорядиться находящейся в его руках (и уходящей из его рук) властью, в каком направлении следует эту власть использовать. Похоже, он начинал понимать, что эффект его коротких и требовательных записок, телефонных звонков, устных распоряжений, комитетов, совещаний, комиссий был столь невелик, что им можно было пренебречь, по крайней мере — временно пренебречь. А высвобожденное время попытаться употребить для решения проблем ближайшей и отдаленной перспективы.

Врачи предписывали отдых — Ленин, ранее достаточно скептически относившийся к их рекомендациям, теперь, несмотря на крайне тяжелое положение в стране, вызванное го-

лодом, все чаще и чаще покидал Москву для разрядки, отдыха и размышлений. С наибольшей перерывами отпуск, взятый им в середине лета 1921 г., продолжался до конца мая 1922-го, до первого серьезного приступа поразившей его болезни. Нельзя сказать, чтобы отпуск был использован Лениным плодотворно: задуманная разработка основных положений теории «государственного капитализма» развития в эти месяцы не получила. Теория «не задалась» — возможно потому, что требовала чрезмерных отступлений от принятой концепции социалистического государства. И время, отведенное для разработки новых идей, Ленин все чаще и чаще отдавал «будированию» текущих вопросов. К тому же он действительно чувствовал себя не очень хорошо, какую-то часть времени отнимали размышления о смерти.

Ленин приближался не столько к тому возрасту, сколько к самовосприятию, осложненному дальними симптомами болезни, когда мысль о смерти, о собственной смерти, вплеталась в любую другую мысль. Во второй половине августа 1921-го он беседует со старым большевиком А. Г. Шлихтером по вопросу отъезда последнего за границу на дипломатическую работу. И вдруг Ленин, прерывая собеседника, замечает: «А вы уже знаете, Саммер умер? Еще один...» Шлихтер: «Я был достигнут врасплох этим вопросом Ильича. Мне мгновенно вдруг стало ясно, что Ильич, казавшийся, на первый взгляд, все тем же давно знакомым Ильичем, в действительности был в этот момент совсем другим, каким-то новым, чем-то удрученным и о чем-то упорно думающим, в то время как мне казалось, что он слушает меня».

Несколько месяцев спустя, в конце ноября, аналогичным образом развивалась последняя беседа Ленина с М. Ф. Андреевой, которая, как и Шлихтер, собиралась в долгий отъезд, — беседа разворачивалась в жанре прощания, позволявшем некоторую открытость. Говорили о кинематографе. «По обыкновению я волновалась, горячилась, — вспоминала Андреева в январском 1924 г. письме Горькому, — он долго что-то слушал, а потом вдруг говорит: «Какая вы

еще, М. Ф., молодая! (И. А. Саммер и Ленин — одноклассники, Андреева — двумя годами старше. — Б. Р.) Даже румянец во всю щеку от волнения... Краснеть не разучились. А вот я — уставать стал. Сильно уставать». И так мне жалко его стало, так страшно. Мы крепко обнялись с ним, и я вдруг почему-то заплакала, а он, то же отирая глаза, стал укорять меня и убеждать, что это очень плохо».

Надо полагать, что пугала Ленина не столько сама смерть, сколько ожидание ее в условиях перелома идей и надежд. В 1918 году, после покушения, он был в большей степени готов к смерти. Уйти в ситуации, пусть на сегодняшний день сложной для революции, но убедительным в ее ближайших ослепительных результатах; к тому же уйти смертью Марата — в таком положении смерть можно встретить легко и с достоинством, можно даже не бежать ее. В мае 1922-го после первого сильного приступа, вызвавшего нарушение речи, письма, движений, интонация иная. Он или мрачно встречается врачей, или наступает на них, ища ответа на вопрос о характере и возможном развитии болезни. Врачи молчат, ссылаются на переутомление, обнадеживают. 30 мая Ленина навещает М. И. Авербах, по специальности офтальмолог, что не помешало Ленину и к нему обратиться с теми же вопросами. Ленин «явно был возбужден, — вспоминал Авербах, — и искал все возможности остаться со мной наедине. Предчувствуя какой-нибудь тяжелый для него, волнующий разговор, я всячески избегал быть с ним с глазу на глаз, но такая минута все же выпала. Схватив меня за руку, Владимир Ильич с большим волнением вдруг сказал: «Говорят, вы хороший человек, скажите же правду — ведь это паралич и пойдет дальше? Поймите, для чего и кому я нужен с параличом?» Дальнейший разговор был, к счастью, прерван вошедшей медицинской сестрой».

Крупская говорила, что Ленин «с самого начала болезни попросил достать ему медицинские книги, обложил себя ими и принялся за изучение своей болезни — больше всего по английским источникам». Чтение медицинской литературы в сочетании

с реальными признаками болезни, кажется, все более убеждало Ленина в правоте его собственных предположений о конечном результате болезни, о том, что ему грозит паралич. Эта идея становилась навязчивой. Зиновьев рассказывал, что Ленин «еще в 1922 году иногда говорил близким и друзьям: «Помните мое слово, кончу параличом». Мы десятки раз пытались превратить все это в шутку. Но он, ссылаясь на примеры, говорил, как бы не окончить так же, как такой-то, имярек, а может быть, еще и хуже».

Надежда на выздоровление все же не покидала его, по крайней мере после удара в 1922 году. А вдруг, действительно, причина болезни исключительно в переутомлении, «нервы сдают», стоит как следует отдохнуть — и все наладится?

А если выйти из игры? Революция и гражданская война выиграны — этих очевидных заслуг не скинуть со счета. Следующий этап развития революции должны взять на себя другие. Может быть — выйти из игры?

Летом 1922 года эта идея на время завладела Лениным. Не только окружающим, но и себе все можно было объяснить болезнью, рекомендациями врачей. М. И. Ульянова приводит его резюме лета 1922-го: «Если нельзя заниматься политикой (...), буду заниматься сельским хозяйством». Ленин собирался выписать семена из Америки и Канады; образцы растений, выведенных отечественным селекционером И. Мичуриным, были доставлены в Москву и весной следующего года должны были быть высажены в Горках. В прогулках по парку Горок Ленин с М. И. Ульяновой «прикидывали и обсуждали, где что можно будет рассадить, где надо устроить питомник и пр.». «Пусть ни один клочок земли не останется здесь неиспользованным», — входил в роль будущего сельского хозяина Ленин. Профессор из Германии Г. Клемперер, находившийся летом 1922 г. в Горках, вспоминал, что после первого удара его пациент стал присматриваться к выращиванию шампиньонов и уходу за кроликами.

Символический опыт сельского хозяина у Ленина был. В 1889 году Ульяновы купили вблизи Самары небольшой хутор. Мать надеялась, что



хутор уберезет среднего сына от судьбы старшего, казненного. Работа с живым мужиком не полюбилась. «Я начал было, — рассказывал позднее Ленин, — да вижу — нельзя, отношения с крестьянами ненормальные становятся».

Работа селекционера в Горках в чем-то была родственна революционно-государственной деятельности в Кремле: в одном случае выведение новых сортов растений, в другом — нового сорта людей. Дело оставалось лишь за темпераментом, знаниями, честолюбием.

К осени 1922 г. Ленин, оправившись несколько от болезни, ушел от проблем селекции растений и вернулся к более знакомому селекционному материалу. Но все же, настигнутый в декабре 1922-го очередным приступом, заканчивая ликвидацию своих дел, он поручает разобрать книги в своей библиотеке и литературу по сельскому хозяйству просит передать М. И. Ульяновой. И еще одна деталь растениеводческих увлечений Ленина: горшочки с пшеницей, просом, ячменем, овсом, гречихой в его доме в Горках.

В 1922 году для Ленина, размышлявшего о своей болезни, в ожидании паралича существовал еще один выход. В характерной для него манере он думал о нем еще в 1911 году под влиянием известия о самоубийстве Лафаргов. Делился тогда с Крупской: «Если не можешь больше для партии работать, надо посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарги». Еще до первого серьезного приступа Ленин взял со Сталина слово доставить ему в случае угрозы паралича цианистый калий. 30 мая 1922 г. он настоял на вызове Сталина и заявил ему, что «время исполнить данное раньше обещание пришло». Расцеловались. Но, переговорив с М. Ульяновой и Бухариным, Сталин вернулся к больному, сказал, что можно подождать, что врачи убеждены: не все еще потеряно. Ленин согласился, дал себя убедить в том, что майский приступ еще не «звонок». Обращался ли он к Сталину позднее — сведений нет. Полагаем, что впоследствии осложнившиеся между ними отношения не позволили Ленину еще раз просить Сталина о «дружеской услуге». В одной из своих поздних статей Троц-

кий писал, что на заседании Политбюро Сталин докладывал о будто бы высказанном Лениным в конце февраля 1923 года желании доставить ему яд. К кому мог Ленин обратиться тогда с этой просьбой — к Крупской? К общавшейся с ним в эти дни секретарю (Л. А. Фотиевой)? Известно, что и в зимние месяцы 1923 года тема паралича не покидала Ленина. После мартовского приступа вернуться к просьбе он не мог уже физически, да, возможно, и не хотел. Та энергия, с которой Ленин стремился в конце своей жизни преодолеть болезнь, может свидетельствовать о том, что в эти дни у него не было стремления опередить естественный ход событий.

Первые два месяца после марта были крайне тяжелы как для него, так и для окружающих — только постель. С середины мая наступил период относительного улучшения здоровья, которым воспользовались, чтобы перевезти его из Москвы в Горки. С августа физическое состояние Ленина перестало вызывать ежеминутное ожидание его смерти.

Самообладание часто изменяло ему, припадки гнева и возбуждения, вызывавшиеся, как правило, стремлением режима навязать больному разного рода ограничения, заставляли врачей и окружающих более внимательно относиться к требованиям узника Горок. Но не только гнев сопровождал Ленина в болезни. «Иногда часами он сидел задумавшись, даже в присутствии посторонних погружался в свои мысли. Иногда на глаза его навертывались слезы, особенно если он оставался один», — зафиксировал один из постоянно находившихся в Горках врачей. О частых слезах известно и из других источников. Куда отнести «слезы» — к симптомам болезни, характерным для атеросклероза; к изменению личности под влиянием болезни? При попытке ответить на этот вопрос учтем все же, что в какой-то степени Ленин был способен регулировать «слезы» («навертывались /.../, особенно если он оставался один»).

В июне 1922 года Ленин говорил врачам, наложившим временный запрет на работу: «Надо, чтобы мне дали возможность чем-нибудь заняться, так как, если у меня не будет заня-

тий, я, конечно, буду думать о политике. Политика — вещь, захватывающая сильнее всего, отвлечь от нее могло бы только еще более захватывающее дело, а его нет».

Во второй половине 1923-го — январе 1924 года Ленин, кажется, был близок к тому, чтобы такое занятие обрести.

Направление интересов Ленина в последние месяцы жизни, при всей ограниченности его возможностей, было довольно многообразным: партийная дискуссия и конференция, Гамбургское восстание, политическая активность населения России, развитие сельского хозяйства и пр., — но чудится, что все эти проблемы рассматривались теперь Лениным в первую очередь в качестве аргументов оправдания собственной жизнедеятельности или перспектив ее оправдания потомками.

В последние два-три месяца жизни, подстегнутый полупрощальной поездкой в Москву, он, кажется, несколько расширил спектр аргументации, несколько скорректировал ее, с тем чтобы обрести желанный результат — оправдать свой путь, который уже давно и бесповоротно был оправдан его ближайшими соратниками.

Источник наших почти эфемерных предположений можно попытаться найти в том внимании, которое Ленин стал уделять «лениниане».

В 1920 году отмечалось его 50-летие. В те юбилейные дни Ленин дал понять, что он скептически относится к подобному рода празднествам: на первом отделении «коммунистического вечера», устроенного в его честь МК РКП(б), отказался присутствовать, появился в зале только после того, как юбилейные речи были произнесены, пустил по рядам карикатуру, как бы связанную с аналогичным событием в жизни Н. К. Михайловского, свою ответную речь посвятил текущим задачам партии — словом, искренне демонстрировал пренебрежение к «вящей славе». В эти же дни он деловито просмотрел немногочисленную юбилейную литературу, точнее — даже часть ее, отметил фактические ошибки и наверняка забыл о ней.

На закате своих дней он вновь обращается к юбилейной литературе 1920-го и других годов, но на этот раз уже более пристально. Об

этом, в частности, говорят два письма Крупской, писанных ею по окончании траурных торжеств. Одно из них — Троцкому:

«Дорогой Лев Давидович! Я пишу, чтобы рассказать Вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая Вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где Вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечистить это место, слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам».

В письме Крупской речь, очевидно, шла о статье Троцкого «Национальное в Ленине», впервые опубликованной в юбилейном номере «Правды» за 23 апреля 1920 года. За границей Троцкий опубликовал письмо Крупской и снабдил его комментарием, подчеркивавшим основную мысль статьи: «В книжке, которую Владимир Ильич просматривал за месяц до смерти, я сопоставлял Ленина с Марксом. Я слишком хорошо знал отношение Ленина к Марксу, полное благодарной любви ученика и — пафоса дистанции. Маркс и Ленин (...) были для меня двумя предельными вершинами духовного могущества человека. И мне было отраднo, что Ленин незадолго до кончины со вниманием и, может быть, с волнением читал мои строки о нем, ибо масштаб Маркса был и в его глазах самым титаническим масштабом для измерения человеческой личности».

Второе письмо Крупской было адресовано Горькому: «В книжке Гильбо он (Ленин) нашел ссылку на Вашу статью о Ленине от 18 года, помещенную в «Коммунистическом Интернационале», и попросил перечистить ему эту статью. Когда я читала ему ее — он слушал ее с глубоким вниманием». Дополнением — письмо от 25 мая 1930 года: «И все вспоминалось мне, — я раз уже писала Вам об этом, — как Ильич в последний месяц своей жизни отыскал книгу, где Вы писали о нем, и велел мне вслух читать Вашу статью. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал».

Что вновь привлекло внимание Ленина к статье Горького «Владимир Ильич Ленин», которую он в 1920 году, в момент публикации, резко осудил, пожалел о невозможности кон-

фисковать номер журнала, внес в Политбюро следующий проект решения: «Политбюро Цека признает крайне неуместным помещение в № 12 «Коммунистического Интернационала» статей Горького, особенно передовой, ибо в этих статьях не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического».

В журнале Горький развивал свою идею периода «Новой жизни» (1917—1918), что «для Ленина Россия — только материал опыта, начатого в размерах всемирных, планетарных», что в грандиозных планах Ленина — социального реформатора, народ России «должен пережить все драмы и трагедии», на которые он, впрочем, и обречен «по логике бездарной истории своей». Для Горького концепция развития государства и народа соотносилась с его приверженностью принципам жизнестроительства, в центре которой стоял Человек, — эти идеи Ленину были абсолютно чужды. Но главное — в 1920 году, в условиях тогдашнего этапа движения России, статья Горького была абсолютно вредна тактически и заслуживала осуждения. Когда вопрос тактики был уже снят с повестки дня Лениным, в статье могли обнаружиться иные строчки, важные для Ленина конца 1923 года, например: «Сторонник теории, утверждающей, что роль личности в процессе развития культуры — ничтожна, В. И. Ленин — источник энергии, без влияния которой русская революция не могла бы принять форму, принятую ею». Статья Горького и в 1923 году не укладывалась в марксизм, но в ней теперь могли угадываться другие достоинства.

В письме Горькому упомяната еще одна работа, привлекавшая внимание Ленина. Ее автор — А. Гильбо, один из «советских французов», социалист. В ноябре 1919 года Гильбо известил Ленина о своем намерении в рамках Бюро III Интернационала подготовить брошюру о «руководителях большевистской революции и строителях Советской республики». На полях письма Ленин ответил: «Не стоит о лицах». Но в конце 1923 г. эмоциональный подъем Ленина при свидании с недавно вышедшей книгой был столь глубок, что он, лишенный в болезни активного словопроизноше-

ния, без длительных повторных упреждений произнес несколько раз: «Ильбо», «Ильбо».

Работа Гильбо была закончена в январе 1923 года. Возможно, ее направление было уже заранее известно Ленину, или с книгой в общих чертах могла его ознакомить А. И. Ульянова-Елизарова, просматривавшая русский перевод. Эта первая «толстая» биография Ленина только в 1924—1925 гг. вышла пятью изданиями. П. И. Лебедев-Полянский в своей рецензии так отозвался о ней: «Это дифирамб товарищу Ленину и его учению о диктатуре пролетариата и захвате рабочим классом государственной власти. (. . .) С каждой страницы веет глубоким настоящим чувством уважения, любви если хотите, преклонения перед могучей мировой фигурой товарища Ленина».

Еще один панегирик Ленину хранился в его доме в Горках — книга американского журналиста А. Р. Вильямса.

В конце 1923 года в Харькове вышел самый полный в те годы сборник материалов о Ленине — он тоже хранился в Горках и тоже наверняка не раз просматривался и перелистывался. Уже, вероятно, вторичным было то, что работы в нем были написаны с разных общественных позиций. Важно было то, что их объединяло, то, что в тот момент казалось наиболее существенным, — восхищение гением вождя пролетарской революции, восхищение, в котором он, кажется, тогда испытывал потребность.

Крупская говорила, что в последний период жизни Ленин активно интересовался тем, что писали о нем, читал приветствия, пожелания о выздоровлении. Ему, видимо, доставляло большое удовольствие сознавать связь-любовь между собой и массами». Одно из приветствий-пожеланий он долго не выпускал из рук: «Ты, имя которого, как знамя, — гласил адрес в организованном порядке посетившей его делегации рабочих, — как путеводная звезда, с любовью хранится в сердце не только каждого члена РКП(б), не только каждого члена РКСМ, но и каждого рабочего и крестьянина, ты нужен нам теперь, в момент развивающейся германской революции, как нужен

ты нам во дни труда, во дни горя, в дни радости. Мы следим с напряженным вниманием за ходом твоей болезни и с радостью встречаем каждый шаг улучшения в твоём здоровье. Мы уверены, что твой мощный дух поборет злой недуг, и с нетерпением ждем дня, когда раздастся радостный клич во всем мире: «Великий кормчий вновь здоровый у руля корабля революции». Привет тебе, дорогой товарищ и вождь, здравствуй на многие годы». Подобная словесная реакция народа никогда не воспринималась Лениным всерьез, но теперь он, видимо, нуждался в специфической психотерапии, иначе трудно объяснить его внимание к этому письменному доказательству «связи-любви».

Еще один пример — из области прикладного искусства. За несколько дней до смерти Ленина редакцию «Правды» посетила группа делегатов одного из фарфоровых заводов. «Правде» был поднесен адрес и блюдо, на котором был запечатлен «портрет Ильича». Вечером М. И. Ульянова, секретарь «Правды», рассказала об этом брату. Ленин «изъявил желание что-то сказать». После долгих предположений выяснилось, что Ленин пожелал увидеть не только адрес, но и блюдо с портретом, из которого, надо полагать, он тоже извлек вящий знак «связи-любви».

Трижды перечитывали Ленину статью Н. И. Бухарина, в которой многократно повторялся тогда еще новый термин — «ленинизм». Что важнее было для Ленина в этой статье: полемика «Правды» с Троцким или терминологический референс — «ленинизм»?

Откуда у Ленина возникла такая мощная потребность в косвенных доказательствах истинности своего бытия? Нельзя ли предположить, что в последние месяцы своей жизни, исследуя пройденный путь, он не нашел в нем достаточных оснований для самоутверждения, для предсмертного покоя и тишины. Закат революционного движения в Европе, сомнительность лелеяемых революций на Востоке, неопределенность внутреннего положения в России, нэп — далеко не лучший аргумент для развития мирового революционного процесса, тяжелое наследство, оставляемое им ближайшим товарищам по

партии, которые ждут его смерти, партийный аппарат, «порабощенный бюрократией», — все могло привести его к чувству неудовлетворенности собой и миром, который он оставлял.

Но негативная самооценка, пытаемая утверждать мы, показалась ему настолько неверной, несправедливой, обидной, неутешительной, что он отказался (отказывался) от дальнейших поисков истины путем самоанализа и в целях самооправдания, компенсации или даже сверхкомпенсации предпочел ему другие, беспроигрышные приемы. Прежде он почти никогда не искал подтверждения своей правоты в посторонних отзывах и готов был одиночкой противостоять большинству. Лесть раньше ему была не нужна, а значит — чужда. Он действительно был скромнее, поскольку его политическое честолюбие сопрягалось исключительно с той грандиозной картиной мирового революционного пожара и почти автоматически наступающего вслед за очистительным огнем царства истины и справедливости для заслуживших это царство. Но когда мировой революционный процесс — и его частная практика в России — не захотел подчиниться «стройной концепции марксизма», границы честолюбия переместились, и настало время для восприятия иных критериев истинности своего пути. Результаты попыток собственного анализа были отставлены. Внешние отзывы, как значительно более благоприятные и «добросовестные», питали теперь его сознание и чувство. Отсюда такое пристальное внимание Ленина к юбилейной и близкой ей литературе, приветствиям, пожеланиям, блюдам.

Но, похоже, что где-то на обочине результаты самоанализа бессознательно продолжали существовать и даже обнаруживали склонность к развиту. Вот, например, в последней, октябрьской поездке в Москву он отобрал в своей кремлевской библиотеке три тома Гегеля и что-то из Плеханова. Зачем? Ностальгия по годам молодости? Или хотелось понять — верно ли он в свое время понял своих учителей?

Еще несколько деталей в поведении Ленина последнего периода, которые, быть может, могут помочь

нам допустить, что процесс самоанализа не был окончательно прекращен.

Всем знаком «традиционный» ленинский жест — вскинутая в приветствии рука с зажатой в ней кепкой. В болезни это движение стало единственным приемом общения Ленина с народом. Кепка стала постоянным атрибутом его костюма, он, кажется, не расставался с ней в помещении. Встречает депутацию рабочих: «Ильич был одет, как всегда, в своей постоянной кепке (. . .). Подойдя к нам, Ильич снял левой рукой свою кепку, переложил ее в правую и поздоровался с нами левой рукой». «Даже зимой на улице он снимает свой головной убор, обнажая «величественный череп». Зиновьев: «Помню. Совсем недавно, несколько недель назад (. . .) Владимира Ильича вывозили на прогулку. Приветливо, с доброй ильичевской улыбкой, он снимал здоровой рукой с головы свою кепку, здороваясь с товарищами из охраны».

Не исключено, впрочем, что воспоминания и рабочих и Зиновьева сознательно-бессознательно вводят читателя в заблуждение — не было ни кепки в доме, ни приветствия посредством головного убора. Замечание к Зиновьеву: на улице конец декабря—начало января. Ленин, конечно же, в теплом меховом уборе, даже известно — в каком: что-то напоминающее большой рембрандтовский меховой берет. Но ставший к этому времени уже мифологизированным образ — «он простую кепку носит», где головной убор выступает в качестве знака социальной ориентированности, так ощутимо тяготеет над Зиновьевым, что его художественное чутье одерживает верх над конкретно-исторической деталью.

Но существуют и другие, более правдоподобные свидетельства. Курсант, стоявший на часах в Кремле 18 или 19 октября 1923 г.: «Ленин обычной своей улыбкой приветство-

вал меня, сняв несколько раз топорпливо левой здоровой рукой свою кепку».

Движениям с кепкой Ленин, похоже, придавал преувеличенное значение, многократно повторял их. Для Крупской такое поведение супруга казалось несколько необычным, она выделила его: «Раз его провезли по дороге, он видит, что рабочий красит крышу, он быстро здоровой рукой снимает фуражку». «Когда ездил на прогулку за пределы сада, Владимир Ильич особенно как-то старательно кланялся встречавшимся крестьянам, рабочим, малярам, красившим в совхозе крышу»<sup>1</sup>.

Что было в этом ленинском движении, жесте? Доказательство его способности владеть левой рукой, доказательство его выздоровления, надежда на возвращение к жизни? Поиски собеседников, которых он был лишен в болезни? Воспоминание о трибуне и море людей перед ней? Или склонение и обнажение головы — след известной формы покаяния?

Нельзя ли совместить все эти предположения?

<sup>1</sup> Впервые Ленин провел в Горках несколько недель осенью 1918 года. Здесь он задумал установить коммуны, принять непосредственное участие в реализации своих космических замыслов. Крестьяне согласились, а затем наглядно продемонстрировали свое представление о новой форме общей жизни. К коммунарам они причислили и обитателя советской усадьбы «Горки» — В. И. Ленина. Судя по воспоминаниям одного из организаторов ленинского загородного дома, когда тот вернулся в Москву, «белье, находившееся в доме, где лечился тов. Ленин, коммуна между собой распределила. Часть мебели из дома забрали, и заправили коммуны обставили свои квартиры. Ковры, драпировку, посуду, серебро, мельхиор тоже распределили и несколько возов со всем из совхоза отправили в Латвию» (часть жителей деревни составляли эвакуированные латыши).

# ШОСТАКОВИЧ ОФИЦИАЛЬНЫЙ И ПОДЛИННЫЙ

ВОСПОМИНАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ, НАБЛЮДЕНИЯ

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

## «НАШЕ ДЕЛО ЛИКОВАТЬ»

Он жил двойной жизнью: официально-публичной и внутренней; вторая же была не просто личной, но и искаженно общечеловеческой. Только она являлась органичной, нравственной и противостояла тем силам, которым подчинялась первая. Я бы не хотел видеть в списке сочинений Шостаковича ни «Песни о лесах», ни балета «Светлый ручей» (о буколической идиллии колхозной жизни тридцатых годов), ни кантаты «Над Родиной нашей солнце сияет» (написанной в 1952 году на фоне последней волны сталинского террора). Как не хотел бы, например, помнить о том, что автор «Дней Турбиных» и «Мастера и Маргариты» сочинил пьесу «Батум» (о молодом Сталине).

Многие жили такой странной жизнью. В сущности, все причастные к культуре, кроме оголтелых карьеристов и лакеев верховной власти. Можно ли удивляться этому, высокомерно порицать, путая беду с виной и исходя лишь из представлений сегодняшнего дня? Было ведь разное. Были иллюзии, становившиеся — до поры до времени — твердыней веры, хоть и подтачиваемой голосом совести. Были социальные гипнозы, неотвратимые внушения. Были сокрушавшие волю страхи, лавина страхов, заставлявшая не видеть, не понимать очевидное. Во многих случаях жизнь первая шла по принципу «необходимо и достаточно»; ограничиваясь минимальными знаками лояльности, не давая себя втягивать в сделки с совестью, не необходимые для того, чтобы выжить, она сводилась, в сущности, к пустому ритуалу, который придавал жизни внутренней некоторую независимость, впрочем весьма ненадежную. В этом варианте возникала необходимость молчания о самом главном. Подобные решения,

конечно же, не оставались незыблемыми, они нарушались попытками сказать о главном языком Эзопа. Однако уже и в этом нетрудно было обнаружить позитив и то, что навлекло смертельную опасность. Вероятно поэтому жизнь подсказывала варианты безопасного компромисса — некую среднюю жизнь: в мире личном ассимилировались идеалы и стереотипы официальной жизни, последняя же «утеплялась», прикидывалась личной, как бы говоря от чистого сердца. Это был компромисс, по моему, — особенно тошнотворный, навсквозь пропитанный фальшью; многие еще хорошо помнят о нем по фильмам, пьесам и стихам тридцатых годов.

После знаменитых ждановских постановлений 1946—1948 годов в Москву нередко приезжали делегации зарубежных «друзей», чьи представления о том, как у нас здесь все хорошо, надлежало укрепить личными впечатлениями. Шостакович вспоминает: «Я видел многие из таких делегаций (. . .) На одну из встреч вызывали Ахматову и Зощенко. Старый прием. Гостям нужно было продемонстрировать, что оба они живы, благоденствуют и бесконечно благодарны партии и правительству. И «друзья» (. . .) не находили ничего более умного, чем спрашивать Ахматову и Зощенко, как они относятся к «историческому постановлению» Центрального Комитета и к речи товарища Жданова. (. . .) Не садизм ли — еще спрашивать их об этом? Можно ли спрашивать у человека, которому какой-нибудь негодяй плюнул в лицо: «Как ты себя чувствуешь, понравилось ли тебе это?» Но это еще не все. Вопросы ставились в присутствии того самого негодяя, который плюнул им в лицо. Те, кто задавал вопросы, уезжали потом домой, но жертвы оставались здесь, в пределах досягаемости негодяя. Анна Ахматова вставала и объясняла, что она считает речь товарища Жданова

и «историческое постановление» Центрального Комитета полностью верным и справедливым. Она поступала правильно. То был единственно возможный ответ этим чужим, бестактным и бессердечным людям. Что она еще могла им сказать? Что она чувствовала себя в этой стране, как в сумасшедшем доме? Что Жданова и Сталина она ненавидела и чувствовала к ним отвращение? Да, Анна Ахматова могла бы это сказать, и ни один человек больше не увидел бы её<sup>1</sup>.

У Шостаковича сложился свой вариант «двойной жизни». В своих главных произведениях он возвышался до наивысшей правды — о времени, о людях, о себе. И говорил об этом не втихомолку, но открыто, обращаясь и к соотечественникам, и к миру. Он же проявлял образцовую сговорчивость по отношению к любой навязываемой ему официальной линии.

Пусть не будут забыты, вычеркнуты из истории характерные документы. В 1948 году, на «Совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)» Шостакович выступал дважды. В первом выступлении говорил очень кратко, менее всего о себе и явно стесняясь откровенной фальши; во втором, видимо испытывав закулисный нажим, он уже заметно «исправился». В заключение сказал: «Я всегда прислушивался к критике, звучавшей по моему адресу, и всячески старался работать больше и лучше. Прислушиваюсь и сейчас, буду прислушиваться и впредь (. . .) Мне хотелось бы — так же как, наверное, и другим — получить текст выступления тов. Жданова. Знакомство с этим замечательным документом может нам дать очень много в нашей работе»<sup>2</sup>. А вот строки из речи Шостаковича на Первом всесоюзном съезде композиторов в том же году: «Говоря о себе, я должен сказать, что работа главным образом в сфере симфонической и камерно-инструментальной музыки отразилась на мне отрицательно»<sup>3</sup>. Сказанные великим симфо-

нистом XX века слова эти прозвучали как язвительная пародия. И мне кажется, это должны были почувствовать даже самые задубелые функционеры и их самые усердные подхалимы. Но «правила игры» предписывали заприходовать этот абсурд как похвальную самокритику. Десять лет спустя я прочел в одной из центральных газет следующие строки, подписанные Шостаковичем: «Как музыкант я особенно горячо благодарю родную Коммунистическую партию за столь сердечное отношение к советской музыке и ее представителям. Мудрое партийное руководство является залогом того, что будет создано много прекрасных музыкальных произведений . . .»<sup>4</sup>

После этой декларации прошло всего четыре года, и «мудрое руководство» из сил выбивалось, чтобы не дошла до слушателей гениальная Тринадцатая симфония Шостаковича, безжалостно хлеставшая это самое «мудрое руководство».

Я слышал и хорошо запомнил, как Дмитрий Дмитриевич каялся на большом композиторском собрании в феврале 1948 года. Получалось, что вся его творческая жизнь была чередой неудач и ошибок. После разгромной статьи в «Правде» 1936 года («Сумбур вместо музыки») он всеми силами стремился исправиться, развивать свое творчество «в ином направлении». Ему будто бы казалось, что «порочные черты своей музыки он уже начал преодолевать». Однако этого не случилось. И он «опять уклонился в сторону формализма и начал говорить языком, непонятным народу». Сейчас ему снова ясно, что «партия права». Правда, в своей «Поэме о Родине» он как будто делал все, что требует соцреализм, но произведение опять «оказалось неудачным». И вот теперь он будет снова «упорно трудиться». Глубоко благодарит за «отеческую заботу» партии о художниках. Все это говорилось не только серьезно. Прирожденная артистичность Шостаковича и его, в сущности, непоколебимая нравственная цельность придавали этому насильственному покаянию — скажу еще раз — саркастическую пародийность.

<sup>1</sup> Zeugenaussage, S. 121—122.

<sup>2</sup> Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), М., 1948, с. 163.

<sup>3</sup> Первый всесоюзный съезд советских композиторов. Стенографический отчет. М., 1948, с. 345.

<sup>4</sup> «Московская правда», 1958, 24 апреля.

А вот что было у него на душе и что он без прикрас высказал незадолго до смерти. О «друзьях-гуманистах»: «Мораль ясна. Не может быть никакой дружбы с прославленными гуманистами. Они и я — полярные противоположности. Никому из них я не верю. Я оспариваю их право ставить мне вопросы». А вот об идеологических начальниках, учивших его, как нужно сочинять музыку: «Я никогда не принимал всерьез их поучений, и я не буду принимать их всерьез. Как тяжкую ношу я ощущаю горький опыт моей серой, несчастливой жизни. И никакой радости не доставляет мне то, что мои ученики разделяют со мной этот опыт и поэтому разделяют мою подозрительность»<sup>5</sup>.

\* \* \*

Весна 1945-го. Конечно же, было чему радоваться. Кончалась страшнейшая из мировых войн. Все торжественнее звучал голос Левитана в сообщениях «От Советского информбюро». Все наряднее становились взлетающие огни салютов. Но летом уже сброшена была на Хиросиму атомная бомба. А у нас все более фанатичными, истощеными, кликушескими становились хвалы Великому Полководцу — тому, кто, подобный Богу, спас народы, нации, культуру всего мира.

В августе я жил в композиторском Доме творчества в Иваново. Шостаковича видел ежедневно. В маленьком палисаднике около его хилого, сараеобразного жилища мы с друзьями соорудили нечто вроде стола — доску, укрепленную на вбитых в землю кольях. Здесь каждое утро Дмитрий Дмитриевич работал над Девятой симфонией. Приведу несколько строк из моей дневниковой тетради. «Несколько дней за столиком никого не было. Д. Д. с Ниной Васильевной уезжали в Москву. Встречал их на станции Иваново. На обратном пути, в машине, Д. Д. впервые сообщил мне об «урановой бомбе», о невообразимо страшном бедствии. Н. В. со знанием дела объяснила, что значит расщепление атома. Д. Д. был мрачен, скован и вместе с тем внут-

ренне возбужден. Говорил короткими, быстрыми фразами; взволнованность ощущалась в какой-то хрипловатой сдавленности голоса, в отсутствующем взгляде, в бледности. Потом мы молча шли к его дачке. Я растерянно думал и о Хиросиме, и о нас самих в ближайшем будущем. Заговорил о чем-то тягостном, тревожном. Д. Д., устремив взгляд куда-то вверх, быстро пресек мои lamentации: «Наше дело ликовать». И я на всю жизнь запомнил эту реплику.

Запомнил особенно потому, что именно тогда, в работе над Девятой, Шостакович преодолел соблазны «нашего дела» и, вопреки официальным ожиданиям, остался самим собой. Еще весной 1944 год<sup>6</sup>: в беседе с одним из московских музыкальных критиков Шостакович сказал: «Да, я уже думаю о следующей, Девятой симфонии. Я хотел бы использовать в ней не только оркестр, но и хор и певцов-солистов, если бы нашел подходящий текст и, кроме того, не опасался, что меня могут заподозрить в желании вызвать нескромные аналогии»<sup>6</sup>. (Имеются в виду аналогии с Девятой Бетховена.) По свидетельству Г. Орлова, «зимой 1944—1945 годов стало известно, что он приступил к практической работе над Девятой симфонией. Кое-кому из музыкантов удалось прослушать первые страницы начатой партитуры — победный героический мажор в энергичном движении. В личных беседах Шостакович говорил, что работает с большим увлечением. Очень скоро, буквально за несколько дней, была закончена экспозиция первой части, еще через неделю — разработка... И вдруг композитор прервал свою работу (...). Он не сказал, почему так поступил, и вообще избегал разговоров на данную тему (...). Лишь впоследствии, через год с лишним, он как-то рассказал, что после только что упомянувшегося варианта Девятой начал еще один и также не довел его до конца»<sup>7</sup>. Между тем еще летом 1945-го газеты поместили информацию ТАСС о том, что вскоре будет исполнена новая симфония Шостаковича, «посвященная торжеству нашей

<sup>6</sup> D. Rabinovich. Dmitry Shostakovich — composer. М., 1959, p. 96.

<sup>7</sup> Г. Орлов. Симфонии Шостаковича. Л., 1961, с. 221.

<sup>5</sup> Zeugenaussage, S. 223.



великой победы». А ведь в августе за деревенским столиком в Иваново создавалось нечто совсем иное, в известном смысле даже противоположное!

Спустя почти три десятилетия композитор рассказывал следующее. «Сталин, наверное, никогда не сомневался в своей гениальности и в своем величии. Но когда война против Гитлера была выиграна, он возомнил о себе еще больше. Он был как та лягушка из басни, которая раздувалась до величины вола. (...) Окружение лягушки-Сталина (...) воздавало ему соответствующие почести. Весь мир прославлял Сталина, и вот я был втянут в этот неблагоприятный хоровод. Повод был, так сказать, задан. Мы победили в войне. Империя расширилась. Какой ценой — это было неважно. От Шостаковича требовался великий апофеоз: хор и солисты должны воспеть вождя. (...) Можно было бы с гордостью сказать: вот она, наша отечественная Девятая симфония. Должен сознаться: я дал Вождю и Учителю повод для того, чтобы мечтать об этом, ибо я объявил о желании написать некий апофеоз. Я пробовал лгать, и это обернулось против меня. Когда Девятая была исполнена, Сталин ужасно рассердился. Он чувствовал себя оскорбленным в своих самых святых чувствах. Не было хора, не было солистов, и не было также апофеоза — ни следа курящегося фимиاما по адресу Великого. Это была просто музыка, которой Сталин не понимал, содержание которой было к тому же сомнительным»<sup>8</sup>.

Слово «сомнительный» — как я думаю — ключевое, хоть и очень глухо намекает на особенность Девятой симфонии. Прежде всего своей скромной камерностью она явно противопоставлена первоначальному замыслу официально-государственной «победной симфонии»; противостояла вообще всему усилившемуся после войны культу пышных «всенародных» празднеств и воспеваний. Ситуация, вероятно, помогла композитору пойти на риск, отказаться от очередного самоискажения (скажу истину ради: нередко, даже и искажая себя, «входя в роль», Шостако-

вич оставлял следы своего вкуса и мастерства). Вспоминаю, как отчетливо ощутил я многозначность Девятой. Игривая беспечность, балаганная лихость оборачиваются трагическим гротеском; в лирике наивно-детское предстает как вознесение над миром фальши и суеты; в надгробном монологе неразрывно слиты скорбь и гражданское мужество. Это уже не прежний патетический трагизм, но голос незаживающей памяти: «Склоним головы, не забудем о жертвах и о черных днях истории».

\* \* \*

«Д. Д. Шостакович. Нотографический и библиографический справочник» (М., 1965). Здесь названы десятки статей и речей, напечатанных от имени Шостаковича. Примеры: «Москва — надежда человечества» (1950), «По пути народности и реализма» (1952), «Воля народа» (1953), «Мы — созидатели» (1955), «Воспламенять сердца!» (1957), «По пути, указанному партией» (1957), «Великая забота партии о расцвете советской музыки» (1958), «Будем достойны славы великой Родины» (1959), «Нас вдохновляет партия» (1962). Ни для кого не было секретом, что эти и подобные статьи писали журналисты, а мнимый автор лишь их подписывал. Такова была вполне стабильная и обыденная техника «выступлений знаменитых людей».

В беседах с Волковым Шостакович упоминает об этой практике очень коротко и без комментариев. Он говорит: «Меня часто спрашивают, почему я то-то и то-то сделал, то-то и то-то сказал, ту или другую желательную начальству статью подписал (...) Люди различны и заслуживают разных ответов». И еще: «Меня спрашивали, почему вы то и другое подписывали. Но никто не спросил Андре Мальро, почему он прославлял строительство Беломорского канала, где погибли тысячи и тысячи»<sup>9</sup>.

Конечно, без него не могла обойтись подготовка текстов автобиографических, а также касающихся его произведений и некоторых общих проблем музыки. Но и в этих случаях его участие, особенно в поздний пе-

<sup>8</sup> Zeugenaussage, S. 161.

<sup>9</sup> Zeugenaussage, S. 204, 218.

риод, бывало лишь формальным, порою и вовсе отсутствовало. Об этом я сужу по собственному опыту литературного «сотрудничества» с Шостаковичем<sup>10</sup>. Ни одной мысли, ни одного сколько-нибудь существенно предложения я от него не услышал ни до, ни после моей работы над текстами. Правда, в связи со статьей «О некоторых насущных вопросах» Шостакович приехал ко мне домой на ул. Огарева и внимательно прослушал то, что я сочинил. Только в одном месте он прервал мое чтение. У меня было написано: «... стремление расширить в музыкальном творчестве диапазон мыслей, чувств, красок не всегда встречает должное к себе отношение. Музыкальные догматики чрезвычайно подозрительны к каждой, даже самой скромной попытке такого расширения. Множество сомнений и подозрений вызывает у них каждый не совсем обычный поэтический штрих...» После этой фразы у меня было: «каждый такой штрих раздражает их, как гвоздь в стуле». Деликатно остановив меня, Дмитрий Дмитриевич сказал: «Прошу вас, Даниил Владимирович, зачеркните эти слова насчет гвоздя в стуле». Вот и все!

Вспоминаю, как сочинялась речь о Бетховене. Я приехал к Шостаковичу с готовым машинописным текстом. И сразу же вслед за мной появились чрезвычайно важные руководящие деятели из Комитета по делам искусств. Я внятно и громко читал «речь Шостаковича». Потом министерские начальники глубокомысленно высказывались. Давали почувствовать, что о Бетховене они знают больше, чем это сказано в «речи Шостаковича». Особенно о проблемах: «Бетховен и революция» и «Любовь к Бетховену в СССР». Были десятки «ценных указаний», и я их тщательно

записывал. А Дмитрий Дмитриевич сидел в самом дальнем темном углу, около входной двери, сидел и молчал. Что он знал о Бетховене! К тому же его речь творило Государство. Дело происходило вечером, а рано утром нужно было вылетать в ГДР. Тем более не имело смысла вмешиваться. В кабинете Дмитрия Дмитриевича я сидел за машинкой почти всю ночь. На рассвете он разбудил меня. Для приличия перелистал мой текст: «Спасибо, спасибо, отлично!» Быстрым движением почесал затылок: «Простите, я бегу», — и исчез.

Вспоминаю и думаю: вот ведь и я сам участвовал в этой фальсификации. Ведь знал я, много раз убеждался, что были у Дмитрия Дмитриевича и мысли и слова — гораздо более глубокие, оригинальные, чем любые подготовленные для него тексты. И чуть-чуть утешает меня лишь то, что я старался писать так, как, по моему представлению, должен был бы написать он сам. Но убеждался, да и по сей день думаю, что с фальсификациями он мирился не от лени, не от барства и, конечно же, не от нравственного безразличия. Думаю, что он дистанцировался, уклонялся от реальной внутренней ответственности за публикуемые от его имени тексты по причине весьма серьезной: слишком грустно и скептически смотрел он на продукцию официальной прессы: пусть, мол, пишут, что хотят, я-то знаю, чего все это стоит; ведь до меня самого, какой я есть, в сущности никому дела нет; более того, даже и нежелательно и глуповато давать знать, каков я на самом деле есть...

В частном общении Дмитрий Дмитриевич говорил удивительно живо, выразительно. У него был свой стиль: короткие фразы, почти всегда афористически емкие, где отжато все лишнее, фразы, метко бьющие в цель. В артикуляции подчеркнутая отчетливость, каждое слово наделялось смысловой выразительностью. Свообразие заключалось еще и в том, что юмор и сарказм излучались сквозь невозмутимую серьезность. Во всем: в отточенно сдержанных намеках, иносказаниях, в словесных изображениях характерных персонажей, целых сценок, даже в пестряковых анекдотах, — во всем сразу же

<sup>10</sup> В моем архиве сохранились следующие написанные мною по просьбе Д. Д. тексты: речь по случаю 200-летия со дня смерти Баха (Лейпциг, 1950), аналогичная речь для торжеств, посвященных Бетховену (Берлин, 1952), статья «О некоторых насущных вопросах музыкального творчества. Заметки композитора» («Правда», 17 июня 1956 г.), речь на втором съезде композиторов (1 апреля 1957 г.).

ощущалась прирожденная артистичность. Бывало, в узком кругу что-то рассказанное им тут же повторялось «на бис», конечно обогащенное новыми штрихами. Он не переносил буквальных повторений — в речи так же, как и в музыке.

Совсем иным был Шостакович на официальных трибунах. Вот одна из моих дневниковых записей пятидесятих годов. «Слушал выступления Д. Д. с возрастающим раздражением, но и с сочувствием. Каким чужеродным, искусственным был для него произносимый текст! Банальные газетные штампы, многословие, хрестоматийные цитаты, громоздкость. И как же он все это читал! Скороговорка, никаких знаков препинания, никаких цезур, полное, будто даже нарочито отсутствие смыслового интонирования. Это было подобие малограмотного школьника, который отвечает по шпаргалке нечто, ему совершенно непонятное. Он как бы пародировал самого себя в роли официального оратора».

Сейчас, много лет спустя, я еще лучше понимаю психологический смысл этих ораторских лицедейств Шостаковича. Не знаю, были ли они преднамеренными или возникали как мгновенная, неизбежная реакция на идиотизм ситуации. Почему, в самом деле, он должен произносить эти бездарные тексты, представляя их как свои собственные? Вероятно, все в нем оцетинивалось против этого насилия, и он делал все возможное, чтобы, читая, в то же время отъединиться от читаемого, намекнуть на свою непричастность ко всей этой казенной банальщине. И это получалось у него в своем роде очень выразительно, хоть и придраться было не к чему.

Я думаю, что внутреннему отъединению Шостаковича от навязанной ему официальной жизни, да и вообще от окружавшей его фальшивой суеты помогала его хорошо выработанная учтивость. Она действовала в отношениях с людьми самыми разными. Это была именно учтивость, не переходившая ни в угодливість, ни в панибратство, ни в безличную вежливость... Больше того: учтивость зачастую была лишь средством дистанцирования.

Многих озадачивала «двойная жизнь» Шостаковича. Озадачивала

потому, что Шостакович подлинный с такой очевидностью, с такой силой и откровенностью прорывался к правде, и, казалось, чего уж ему терять! У идеологических надсмотрщиков и карьеристов руки чесались: как бы поскорее скрыть, замазать брешь, образовавшуюся в стене лжи. И изобразить композитора монолитно «правильным». Недруги и завистники в любой момент готовы были подловить его на противоречиях, ошибках «субъективного сознания», на «подозрительной» идейной нестойкости и еще на многом другом. Они только и ждали подходящего часа, чтобы посеять недоверие к его богом данной исключительности. Точно так же, как в его светлые дни ловили минуту, чтобы к нему же подольститься и при его же великодушном содействии преупеть.

Я менее всего хочу упрощать. Ни музыкальный гений, ни могучая сила духа не избавили Шостаковича от наполнявших дни и ночи простых человеческих страхов. Были страхи за жизнь и судьбу близких; страхи насилия, унижения, пыток; страхи нищеты и бесправия. А в том, что в ситуации полной беззащитности он хотел быть «как все», — хотел на себе самом испытать судьбу всеобщего рабства, жизнь, на волоске висящую над черной пропастью, — в этом я вижу его нравственный уровень<sup>11</sup>. Думал об этом уже давно и поэтому с особым удовлетворением прочел недавно следующие строки из воспоминаний Галины Вишневской. «Не

<sup>11</sup> Шостакович с величайшим уважением рассказывал об одном удивительном поступке М. В. Юдиной. Как-то Сталину понравился исполненный ею по радио концерт Моцарта № 23. Получив от Радиокomiteта специально для него изготовленную звукозапись этого исполнения, Вождь приказал послать Юдиной 20 000 рублей. В ответном письме Марии Вениаминовны говорилось (цитирую по пересказу Шостаковича): «Я благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу помощь. Я буду день и ночь молиться за Вас и просить Бога, чтобы он простил Вам Ваши тяжкие грехи перед народом и страной. Бог милостив, он простит. Деньги я пожертвую на ремонт церкви, в которую я хожу» (Zeugenaussage, S. 213). Шостакович назвал это письмо «самоубийственным». Уже был подготовлен приказ об аресте, но на этот раз что-то удержало Сталина от мщения.

желая закрывать глаза на жесткую правду, Шостакович отчетливо и ясно сознавал, что он и все мы — участники отвратительного фарса. А уж коль согласился быть паяцем, так и играй свою роль до конца. Во всяком случае тогда ты берешь на себя ответственность за мерзость, в которой живешь и которой открыто не сопротивляешься.

И, раз навсегда приняв решение, он, не стесняясь, выполнял правила игры. Отсюда его выступления в печати, на собраниях, подписи под «письмами протеста», которые он, как сам говорил, подписывал не читая и ему было безразлично, что об этом скажут. Знал, что придет время, спадет словесная шелуха, и останется его музыка, которая все расскажет людям ярче любых слов. Реальной жизнью его было только творчество, и уж сюда он не подпускал никого. Это был его храм, входя в который он сбрасывал маску и оставался тем, кто он есть, — и только за эту жизнь он и в ответе. Все, что хотел сказать Шостакович, о чем он думал, он говорил своей музыкой, и она-то и останется в веках, так же как истерзанный, изломанный духовный облик величайшего композитора XX века. Какие бы фальшивые программы ни подкладывали советские музыковеды под его симфонии, публика, приходящая на концерты, отлично понимает, о чем пишет Шостакович. И в том, что в России все больше и больше раскрепощается людское сознание, конечно, огромная заслуга и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, до конца жизни своей музыкой призывавшего людей к протесту против насилия над личностью с такой иступленной страстью, как ни один творец музыки нашего времени.

(...) Пройдя через глумление над своим талантом, он остался верным своему народу, который всегда отдавал его на закланье. Непонятно, как с его темпераментом, его нервной утонченностью он не покончил жизнь самоубийством. Какая сила спасла его от этого шага? А может быть, он побоялся Бога? Бог не принимает душу самоубийцы... Это есть у него в Четырнадцатой симфонии у сопрано: «Три лилии, три лилии на могиле моей без креста...» На репетиции на него страшно было смотреть, с такой мучительной углуб-

ленностью в самого себя слушал он эту часть»<sup>12</sup>.

## ИЛЛЮЗИИ ДВАДЦАТЫХ

О шекспировском «Короле Лире» Шостакович говорил: «В «Лире» для меня важнейшее — крах иллюзий несчастного короля. Нет, собственно, не крах, нет. Крах происходит внезапно: один удар, и все кончено. Но видеть, как постепенно умирают, это совсем иное дело. Это мучительный, многострадальный процесс»<sup>13</sup>.

Распознавание добра, мнимого и подлинного, иллюзий и правды, процесс «постепенный» и «мучительный». Не о себе ли самом думал Шостакович, анализируя «Короля Лира»? И уже без всяких иносказаний говорил о своем времени, когда касался судьбы «Гамлета» и «Макбета» на сцене Художественного театра. «Обе пьесы Сталин терпеть не мог. Почему? Ну уж это должно быть ясным. Преступный владыка — что могло Вождя и Учителя привлекать в этих пьесах! Шекспир был провидцем, он описал путь человека к власти, путь по колену в крови»<sup>14</sup>.

Как и многие его ровесники, Шостакович не избежал иллюзий двадцатых годов, последующих разочарований и переоценок. Казалось и внушалось, что героика революции это совсем не то, что жизнь реально-человеческая. И это отразилось в симфонии № 2 — «Октябрю». В ней все однозначно, «правильно», все как в учебнике, разъясняющем, как должна происходить классовая борьба и победа. Автором стихов для этой симфонии был А. Безыменский. В заключительном хоре поэт из себя выходит от лыстивого пышнословия; он оратор-гигант, могучий трибун, ему все ясно, он возглашает и прославляет. Сотрудничество с Безыменским, позволю себе сказать, было одним из первых грехопадений Шостаковича. Казалось, что искусство, создаваемое «в свете наших дней», должно быть во что бы то ни стало популярно-пропагандным, внести вклад в изобличение «старого строя»

<sup>12</sup> Галина Вишневская. Солженицын и Ростропович. — «Юность» 1989, № 7, с. 82.

<sup>13</sup> Zeugenaussage, S. 210.

<sup>14</sup> Там же, S. 211.

и классового врага. И это отразилось даже в опере «Леди Макбет Мценского уезда» — произведении, ознаменовавшем собой духовную зрелость и небывалый еще в то время духовный масштаб композитора. Имею в виду, например, седьмую картину с Квартальным и полицейским, которые сами себя «социально» разоблачают, а также восьмую картину с кривлянием пьяного священника. Как походили эти шутовски, плакатно агитационные сцены на памятные мне клубные постановки «Синих блуз» и «Живых газет»; я ведь обретался в такого рода клубных коллективах почти все мои студенческие годы. Всего этого, конечно, и в помине нет в повести Лескова. Но бывало такое в изобилии у Демьяна Бедного, а также — значительно талантливее, все же с пропагандной грубостью — у Маяковского.

## О МАЯКОВСКОМ

Да не осудят Шостаковича поклонники поэта. И да не осудят меня, напоминающего об одном из увлечений и последующем разочаровании композитора. Автор «Облака в штанах» очень занимал Шостаковича в ранней юности. Он не расставался со сборником под названием «Собрание сочинений Владимира Маяковского» (1919). Рассказывал: «Эта книжечка меня восхитила. Мне было тогда менее тринадцати лет. Но у меня были старшие друзья, молодые литераторы, которые читали Маяковского и охотно разъясняли мне трудные места в книге. В дальнейшем я не пропускал ни одного выступления Маяковского в Ленинграде. (...) Моем любимым стихотворением было «Хорошее отношение к лошадям». Я люблю его и сейчас и считаю его одной из лучших работ Маяковского. Сильное впечатление произвела на меня в свое время поэма «Облако в штанах»<sup>15</sup>. Как известно, Шостакович написал музыку к пьесе Маяковского «Клоп» (по признанию композитора, пьеса была ему неприятна<sup>16</sup>). Но подействовали сильные угрозы Мейерхольда; замечу попутно,

что от работы над совсем уже не понравившейся ему «Баней» того же автора Шостакович отказался). На репетициях «Клопа» начались личные встречи с Маяковским, и они прибавили к представлениям о поэте и человеке кое-что принципиально новое.

«Конечно, я не ожидал увидеть его в знаменитой желтой кофте с морковкой в петлице, но и не думал, что он бегаёт с нарисованным на щеке цветочком. Эти глупости предреволюционного времени новая эпоха ему бы так или иначе не разрешила. Но и видеть человека, который на каждую репетицию появлялся в новехоньком галстуке, было так же удивительно. Очевидно, Маяковский придавал большое значение богатой жизни, одевался во все самое лучшее, иностранное и любил хвастать этим. (...) Когда во время репетиции «Клопа» мы с Маяковским познакомились, он протянул мне два пальца. Я, недолго думая, протянул ему один палец. (...) Маяковский был немного смущен. Он привык, чтобы его беззастенчивость сходилась с рук, а тут какой-то мальчик вздумал с ним тягаться. (...) В общем, я могу, пожалуй, сказать, что в Маяковском с полной ясностью концентрировались черты, которые я не переношу: высокомерие, позерство, самореклама, страсть к роскоши и прежде всего пренебрежение к слабым и угодничество перед сильным».

Шостакович напоминает о том, что Маяковский был одним из первых советских поэтов, кто прокладывал путь культу личности (имеется в виду прежде всего известное стихотворение «Домой») и продолжает: «Сталин этого не забыл. Он посмертно награждал Маяковского званием «лучшего и талантливейшего». Как вы знаете, Маяковский чувствовал себя равноценным Пушкину. И сегодня многие с полной серьезностью ставят его на одну ступень с Пушкиным. Я думаю, эти люди ошибаются. Я имею в виду не талант. О таланте можно поспорить. Я имею в виду позицию. Пушкин писал о себе, что в свой жестокий век восславил он свободу и милость к падшим призывал. Маяковский призывал к чему-то совсем иному. Он апеллировал к молодежи, чтобы она избрала себе в качестве образца товарища Дзер-

<sup>15</sup> Zeugenaussage, S. 264.

<sup>16</sup> Там же, S. 264—266.

жинского (см. поэму «Хорошо». — Д. Ж.)<sup>17</sup>.

### ТУХАЧЕВСКИЙ

С детства Шостакович был остро впечатлительным, и его нередко терзали мысли о страшном: о муках людей и животных, о том, что существуют пытки, палачи и их жертвы. Позднее под влиянием творческих кризисов и разгромных статей он порою впадал в отчаяние. Особенно сильным было впечатление от грубейшей статьи в «Правде» (1936). Вспоминал: «... я был близок к самоубийству. (...) Мое прошлое было зачеркнуто. (...) Я не видел выхода. (...) Я просто хотел исчезнуть»<sup>18</sup>. Среди немногих, с кем он мог посоветоваться и отвести душу, был маршал М. Н. Тухачевский<sup>19</sup>.

«Когда мы познакомились, мне было 19 лет, Тухачевскому уже за тридцать. (...) Но я был очень самоуверенным и задиристым. Это Тухачевскому понравилось. Мы подружились... И эта дружба закончилась только вместе с трагической смертью Тухачевского»<sup>20</sup>. По воспоминаниям Шостаковича, Михаил Николаевич был на редкость талантливым человеком, удивительно разносторонним и универсально образованным. Помимо всего прочего удивляла его

физическая сила. Он мог посадить человека на стул и затем поднять стул вместе с человеком на воздух. Игре на скрипке он посвятил себя с особенной страстью. На скрипке играл также и Мейерхольд. И оба они упоминали о скрипке совсем незадолго до своей трагической кончины. Мейерхольд, который ежедневно ждал ареста, сетовал, что он не стал скрипачом. «Я мог бы теперь сидеть в каком-нибудь оркестре и пиликать. Не имел бы никаких забот». (...) Ему было тогда 65 лет. Почти то же самое говорил незадолго до ареста 44-летний Тухачевский. «Если бы я уже с детства смог учиться играть на скрипке! Но папа не купил мне скрипки, у него не было денег» (...)

«Тухачевский был и всегда, в любой ситуации оставался профессиональным военным. Ему доставляло удовольствие оказывать поддержку искусству. Но его мысли вертели исключительно вокруг военных вопросов. Таким образом я узнал многое. В такие моменты он был мне одновременно симпатичен и несимпатичен. Я с большей охотой слушаю специалистов, чем дилетантов. Но он был специалистом в ужасной профессии. Его профессия заключалась в том, чтобы шагать через трупы, и как можно успешнее. Что меня опять-таки отталкивало...»<sup>21</sup>

После разгромной статьи в «Правде» Шостаковича вызвали в Москву. Предстояла публичная проработка; надлежало, подобно унтер-офицерской вдове, высечь себя самого. «У кого я должен был просить совета? К кому мог пойти? Я пошел к маршалу Тухачевскому. Он как раз вернулся из триумфальной поездки в Лондон и Париж. «Правда» ежедневно писала о нем. Я же, наоборот, был как прокаженный. Никто не посещал меня. Никто на улицах не узнавал, все боялись. Тухачевский встретил меня. Он заперся со мной в своей рабочей комнате. Отключил телефон. Мы молчали. Потом начали тихо говорить. (...) Тухачевский обещал мне сделать все для него возможное. Он говорил осторожно. Было очевидно, как он должен был себя сдерживать, когда речь заходила о

<sup>17</sup> Zeugenaussage, S. 267.

<sup>18</sup> Там же, S. 141.

<sup>19</sup> Как известно, выдающийся военачальник М. Н. Тухачевский всю жизнь тяготел к музыке. Это в немалой степени связано было с традициями его семьи. Родители дружили, переписывались с С. И. Танеевым. Воспитанник Танеева Н. С. Жилев был другом семьи Тухачевских, учил музыке братьев Игоря и Михаила. Своим музыкальным наставником считал Жилева и Шостакович (см. статью Дмитрия Дмитриевича «Как мне не хватает его» в сб. «Маршал Тухачевский. Воспоминания друзей и соратников», М., 1965). В тесной комнате на Чистых Прудах, куда я постоянно приходил к своему консерваторскому педагогу Жилеву, на самом видном месте висел большой фотопортрет Тухачевского. Помню, что именно здесь я впервые увидел молодого Шостаковича, который сыграл Николаю Сергеевичу свою только что сочиненную Первую сонату для фортепиано. Жилев был расстроен вскоре после казни Тухачевского.

<sup>20</sup> Zeugenaussage, S. 122.

<sup>21</sup> Zeugenaussage. S. 125.

Сталине. (...) Я хотел бы знать, кто сегодня играет на скрипках Тухачевского и вообще сохранились ли они<sup>22</sup>. Мне кажется, что они должны были бы издавать печальный звук. Мне в жизни часто бывало плохо. Другим, однако, бывало много хуже»<sup>23</sup>.

### «ВОЙНА ПОМОГЛА»

Особенная сила творений Шостаковича — сочетание в них неприкрашенной правды, душевной страсти и классического мастерства — проникала в сознание даже в самые глухие времена нашей недавней истории. Это было победой композитора, но и источником его тревог. Ведь результаты того, что сознание обогащалось, могли быть очень разными. Для одних это было нравственным возвышением. Другие кое-что из обнаруженного «брали на заметку», дабы в подходящий момент подогреть столь распространенную в сталинские годы общественную подозрительность, а то и доносчик черкнуть.

Как-то в начале пятидесятых годов я читал лекцию для участников всесоюзного совещания музыкальных педагогов. После характеристики Шостаковича в дальнем ряду поднялась рука.

— Разрешите спросить?

— Пожалуйста.

— Непонятно мне следующее.

Шостакович почти всю свою сознательную жизнь прожил в нашей стране, здесь рос и воспитывался. Где же увидел он у нас источники для тех, как вы их называли, «трагедийных» сюжетов и тревожных настроений, которых так много в его произведениях? Разве типично это все для нашей страны? Где он мог наблюдать подобное?

Какой-то хилый и грустно-задумчивый слушатель, сидевший в первом ряду, почти неслышно прошептал: «Где мог увидеть? Да хоть бы в нашем городе и в нашем училище».

А обращенный ко мне громкий вопрос был явно провокационным и доносительским. Я ответил кратко

и весьма уклончиво (увы, Вождь и Учитель был жив): «Как и у всех больших художников, в поле зрения Шостаковича был весь мир». Следовало, конечно, сказать, что источники для своих концепций композитор мог найти не только вдали, но и очень близко.

А вот слова Шостаковича, которые я много позднее прочел в записях С. Волкова. «Ни за что не поверю, что вокруг нас одни лишь дураки. Играет роль маскировка, тактика с целью выглядеть хоть минимально добродетельными. Сегодня все говорят: «Мы ничего не знали, ничего не замечали. Мы верили Сталину. Он нас обманул. Ах, он нас ужасно обманывал!»

Люди, которые так говорят, возмущают меня. Кто это ничего не понял, кто был обманут? Невежественная молочница? Глухонемой чистильщик сапог на Лиговской? Нет, это были так называемые образованные. Писатели, композиторы, артисты. Это были те самые люди, которые аплодировали моей Пятой симфонии. Я ни за что не поверю, что кто-нибудь, не способный ничего понять, понимает мою Пятую симфонию. Они понимают, что произошло вокруг, и они понимают, что содержит в себе Пятая симфония.

Из-за этого сочинять мне становится еще тяжелее. Если я скажу, что мне труднее сочинять, когда мою музыку понимают, это прозвучит как абсурд. Ведь в нормальных случаях сочинять легче, когда тебя понимают. Однако здесь было наоборот. Чем шире круг слушателей, тем больше среди них доносчиков. И чем лучше слушатели понимают, о чем здесь идет речь, тем больше вероятности, что они донесут.

Очень тяжелая, сложная ситуация, которая с годами становилась все более тяжелой. Печально говорить об этом, печально и неприятно, но необходимо, так как я хочу придерживаться правды. И правда состоит в том, что война помогла мне».

«Война помогла мне» — последние строки вполне объясняют эту фразу. «Война принесла невыразимые страдания и нищету. Жизнь становилась очень, очень тяжелой. Было бесконечно много горя, много слез. Однако до войны было еще

<sup>22</sup> М. Н. Тухачевский не только играл на скрипке, но и со знанием дела и с большой тщательностью изготовлял струнные инструменты.

<sup>23</sup> Zeugenaussage, S. 123, 129.

тяжелее, так как каждый был со своим горем наедине.

Уже до войны в Ленинграде едва ли была семья, не испытывавшая утраты: лишались отца, сына и, если не было родных, лишались близкого друга. У каждого было кого оплакивать. Но нужно было плакать втихомолку, под одеялом. Никто не должен был этого заметить. Каждый боялся каждого. Горе подавляло, оглушало нас.

Оно подавляло всех, также и меня. Я должен был его выразить в музыке. Я считал это своей обязанностью, своим долгом. Я должен был написать Реквием по всем погибшим, по всем мученикам. Я должен был описать ужасную машину уничтожения и выразить протест против нее.

Но как? Меня окружала подозрительность, всюду, где бы я ни находился. Критики высчитывали, сколько моих симфоний написано в мажоре и сколько в миноре. И это тоже придавливало меня, парализовало.

И вот пришла война. Тайное, одинокое горе стало горем всеобщим. О нем можно было говорить, можно было открыто плакать. Люди уже не боялись слез. Люди постепенно привыкали к возможности высказать свое горе. И было ведь у нас достаточно времени, чтобы привыкнуть выражать свое горе — целых четыре года. Тем тяжелее было для нас увидеть, что после войны все это снова быстро изменилось. Тогда я положил в стол ряд больших работ, там они пролежали несколько лет.

Право на горе — это привилегия. Оно дается не каждому и не всегда. В этом я вполне убедился.

Не только я обязан войне возможностью высказываться. Все почувствовали это. Духовная жизнь, которая до войны была полностью иссушена, снова расцвела полно и густо. Все приобрело очертания, ясность, смысл.

Быть может, многие думают, что после Пятой (симфонии) я воспрянул духом. Нет, я начал снова жить лишь вместе с Седьмой. Она возникла во время войны, когда снова появилась возможность говорить друг с другом. Мы умели это делать очень плохо, все же дышалось нам легче»<sup>24</sup>.

## В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Печальными строками завершает свои воспоминания Шостакович. Они таковы не только из-за прогрессирующей и все более сковывавшей его болезни. Итоги жизни были печальными потому, что не суждено ему было вырваться на волю, сбросить ярмо официальной и принуждения, не суждено было глотнуть воздуха новых времен и без косых взглядов свершить все то, на что способен был его творческий гений.

«Нет, не в силах я больше описывать свою грустную жизнь... Она была довольно-таки серой и бесцветной. Воспоминания о ней повергают меня в печаль. Неприятно признаваться в этом, но это, увы, правда, невеселая правда. (...) Не раз хотелось мне отказаться от этого неутиешительного занятия — вспоминать о себе. (...) Но потом по многим причинам я шел по пути воспоминания дальше, принуждал себя к этому. (...) Быть может, мой опыт будет полезен молодым. Быть может, это избавит их от тех ужасных разочарований, которые я пережил. Быть может, они войдут в жизнь более подготовленными, более закаленными, чем я. Быть может, их жизнь будет свободной от тех огорчений, которые окрасили мою жизнь в серый цвет»<sup>25</sup>.

Можно понять эти строки, но трудно согласиться с их однозначностью, со сплошным «серым цветом». Ведь были же и ярчайшие достижения. Были незабываемые и драгоценные страницы искусства XX века.

Потребность высказать то, что наболело, и то, что нужно, непременно нужно сказать людям и как можно скорее, — пока не поздно, — эта потребность неистощима. Даже в одиночных камерах, даже в ожидании последнего дня жизни люди размышляли о смысле и судьбах бытия, сочиняли стихи и мемуары. Почему так отозвалась в душе Пятая, потом все последующие симфонии Шостаковича? Сильно пошатнулась вера в силу души, в ее права и в ее всемогущество. Менялось поэтому отношение к «открытой лирике», которой так богат был XX век. Для

<sup>24</sup> Zeugenaussage, S. 155—157.

<sup>25</sup> Там же, S. 293—295.



выражения духовных и душевных потребностей уже недостаточно было искренности, лирической красоты, активности чувств. Эмоциональное «поводье» ощущалось как слишком доверчивое; в безбрежной и ласкающей душу лирической стихии таилась опасность прекраснодушного «любования».

Открытие Шостаковича заключалось, как я думаю, в том, что для выражения трагедии времени и той лютотой тоски, которую породила эта трагедия, он создал новую, более суровую экспрессию. Пружина была по-новому сжата, сильнее давала чувствовать идущую изнутри «энергию высвобождения» и одновременно силу внешнего давления. Ритмы стали более упорными, неумолимо настойчивыми. Мелодия — более сумрачной, она то и дело пробивается сквозь мощное средостение. Лирика, противостоящая императиву жестокой судьбы, очень нетрадиционна. Это мелодии «парящие», без романтически-чувственного восторга. Порою они трогательно просты, удивительно сочетая в себе наивность и мудрость, печаль и свет мечты.

Пройдя сквозь многообразное экспериментаторство, сквозь жесткую эстетику антиромантизма, усвоив на этом пути многое из того, что нужно новому времени, Шостакович все же

никогда не терял главных ориентиров. Он шел не к абстракциям «играющего ума», не к эффектам экстравагантного, но к миру сердечно-человеческого и к трагедиям своего века.

... Среди моих сильнейших художественных переживаний молодых лет были мхатовская премьера «Дней Турбиных» Булгакова, потом Пятая симфония и квинтет Шостаковича. Помню, как вопреки непосредственному впечатлению многих людей и, вероятно, именно потому, что от пьесы Булгакова шли какие-то волны полузабытой «бесполезной» доброты и человечности, — именно поэтому на тот спектакль с особенной, собачьей яростью набросилась тогдашняя ортодоксальная критика. Много позднее стало ясно, что и названные произведения и поразному близкие им, в том числе Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Солженицына, Гроссмана, так же как Седьмая, Восьмая, Девятая симфонии Шостаковича (называю далеко не всё), — были важнейшими художественными событиями в процессе высвобождения отечественного искусства «из-под глыб», движения его к высшему нравственному уровню и соответственно к высшему мастерству.

**ОБ АВТОРЕ.** ЖИТОМИРСКИЙ Даниил Владимирович (род. в 1906 г.) — доктор искусствоведения, лауреат Международной премии Роберта Шумана. В 1931—1941 гг., потом в 1943—1948 гг. — доцент Московской консерватории. В 1949—1965 гг. — доцент и зав. кафедрой Азербайджанской и Горьковской консерваторий. С 1965 по 1986 г. — старший научный сотрудник Института искусствознания (Москва).

Среди работ — книги и статьи о Чайковском, Скрябине, Метнере; монография о Р. Шумане (1964 г.); научные публикации писем и статей Шумана; статьи «Девятая симфония Шостаковича» (1945), «О Десятой симфонии Шостаковича» (1954); «Шостакович и Шекспир» (1967); «Из размышлений о стиле Шостаковича» (1976); «Три оперы Бриттена» (1964); «О технике композиции в XX веке» (1978); «Герман Гессе и некоторые параллели» (1980); «О целостном анализе музыки» (1973—1981) и др.

Более подробные сведения см. в книгах: Д. В. Житомирский. Избранные статьи. М., 1981; «Кто писал о музыке», библиографический словарь, т. 1. М., 1971; Музыкальная энциклопедия, т. 2, М., 1974.

# Обзоры, размышления, рецензии

Андрей ЛЕВКИН

## «МЫ» В ЛАТВИИ

Поручика Ржевского одна дама пригласила прийти к ней вечером попозже. Дама просила его в доме снять сапоги — чтобы не шуметь, не разбудить престарелую тетушку. Вот наступил урочный час, поручик вошел в дом. И слышит его дама сердца кошмарные звуки: шкряб-шкряб, шкряб-шкряб. Наконец, Ржевский входит в спальню к даме и та его спрашивает:

— Поручик, я же просила вас снять сапоги! Какие ужасные звуки вы издавали!

— А я снял сапоги, — заявляет поручик Ржевский.

— Что же тогда шкрябало по паркету? — спрашивает дама.

— Вероятно, когти-с!

Книга сдана в набор 19.02.89, написана к печати 14.06.89 и появилась в магазинах во второй половине октября 1989 года. Это, конечно, не о сроках прохождения рукописи, но лишь о том, что все высказанные в ней мнения — более чем годичной давности, а прошедший год был весьма плотным. Что, впрочем, вполне обнаруживается при чтении и не заставляет соотносить сказанное с теперешними мнениями авторов, тем более исключает возможность какой бы то ни было конкретной полемики с ними. Книга, вспоминая разговоры годичной давности, вполне точно отражает происходившее тогда.

Но очень неполно. Книга ориентирована, вне сомнений, на русских: тут собраны точки зрения русских — по преимуществу профессионально занимающихся публичными высказываниями, и латышей, которые свои тексты написали специально для нелатышей, — книга то есть представляет набор тем, адаптированный для нужд русского населения, и поэтому весь спектр мнений внутри Латвии — как

заявлено в словах от составителя — заведомо не отражает, тем самым неприятно относимая нелатышей в отдельную зону. Недостаток очевидный и весьма существенный. Впрочем, книга составлена как-то смешно: вначале статья Страдыня, затем Клецкин пробует описать латышскую ментальность, заключается — фактографической (избыточно эмоциональной) статьей Зейле, а внутри, будто в рамке (чтобы не особенно, что ли, разбежались во взглядах) — рассуждения русских. Все это весьма наивно и несколько смахивает на привычный официоз.

И отметив, что заявленная в предисловии цель недостижима, книгу можно читать как сводку прошедших событий, что — сравнивая с происходящим теперь — даст возможность нащупать динамику процесса (не выясняя притом, насколько кто из авторов был дальновиден и искренен, — в какой-либо предумышленности обвинять их нельзя: для этого, наконец, надо было бы заранее знать, как пойдут дела впоследствии).

Что изменилось за год? Ну, с тех пор массажи во весь голос овладела идея перехода Латвии в разряд самостоя-

/Мы в Латвии/ Сост. Л. Ковтун. —  
Р.: Звайгзне, 1989/



тельных государств: год назад все больше говорили об обновленной федерации; с тех пор, впрочем, были Тбилиси, съезд, заявление ЦК etc. Теперь, думаю, акад. Страдынь уже не полагает, что «сейчас в Советском Союзе происходит революция «сверху», революция, инспирированная Центральным Комитетом, партией...».

Итак, книга фиксирует, является слепком мнений годичной давности, мнений нелатышских и латышских, ну, скажем, на вынос. Некоторое число различных людей сообщают свои точки зрения на те или иные аспекты положения республики. Казалось бы, усвоенный таким образом сборник должен распасться на эти точки зрения, в сумме обеспечивая некоторую совокупную, такой многогранник. Что и происходит, но иначе — авторы, почти повторяя друг друга, излагают свои мнения по одним и тем же позициям. Позиций таких пять-шесть, все вполне общечеловеческие и отчасти метафизические: что для думы, что для дома, что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится; к которым добавляются две конкретные: кто такие латыши, кто такие нелатыши.

Естественная неконкретность рассуждений на подобные темы вполне (тогда, год назад) извинительна; ниче-

го, казалось бы, эти мнения не определили и не решали. Так — если о тогдашней конкретике. Но подобными рассуждениями был заполнен определенный блок понятий и логик — блок, который определяет логику дальнейших, уже конкретных речей и действий. То есть тогдашние, почти что вообще-мнения могут управлять — незамечаемые — и событиями теперь. А мнения эти в большинстве своем, если попытаться представить, что за жизнь может быть ими порождена, удручают.

Вот я о чем: название книги на редкость точно определяет способ употребляемого в ней мышления. Если только учесть, что МЫ — не именование некоторого количества таких и сяких людей, но определение новой исторической общности — МЫ. Замятин ведь самую главную гадость запрятал на самом видном месте: можно опровергать каждодневной практикой все осуществленные в его романе тоталитарности, а главная, на самом виду, примелькалась настолько, что даже не воспринимается как инвектива. МЫ — это кто? МЫ, вообще-то, это некоторое количество людей, одинаково направленных некоторым заданным извне ли или договоренным между собой вектором: что имеет отношение к достижению некоей цели, а не к жизни, в жизни ведь МЫ — где? Там есть Надя, Лена, Женя... И уже по заглавию понятно, что книга касается вовсе не людей, живущих в государстве, но она о попытке соорудить этим людям очередную модель однонаправленного существования в государстве. Но МЫ-латыши уже имеют конкретный объединяющий процесс. МЫ-нелатыши — не имеют. Непорядок.

Вот только плохо уже и то, что в качестве установителя русского МЫ выступает оппозиция «латыши—нелатыши». Оппозиция вовсе не обязательная, но возникшая, а при подобном сравнении структура левого участника оппозиции (куда более определенно: здесь латыши заговорили первыми, конкретно и согласованно) вызывает почти неосознанное желание в точности так же структурировать и правую ее часть, искать дословных соответствий, не находить и упрекать: почему не поете хором?

Да не обязаны культуры совпадать. Попытки же устроить тождество, сопоставляя менталитет и духовный склад тоже, видимо, успешными не будут,

они пока — говорю о статье Клецикина — кажутся родом рекламного проспектика; это как-то в расчете «на грош пятаков», что вполне соотносится с феерическим ляпом, открывающим саму статью: «Когда Дмитрий Сергеевич Лихачев опубликовал свои «Заметки о русском», больше всего, пожалуй, поразили даже не они сами, сколько то, что их раньше не было. Как же так? Как же мы обходились — русские без понимания себя, нерусские — без понимания их?» — приходится, увы, напомнить А. Клецикину название некоей известной книги, написанной лет так с тысячу назад: «Повесть временных лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля», уже и не напоминая автору о прочей русской литературе, тем же, в сущности, вопросом занимающейся все время своего существования. Но допущенная Клецикиным нелепость психологически оправдана — здесь речь идет вовсе не о культуре, а о кратком курсе того, кто есть МЫ-одни и МЫ-другие, что происходит в предположении о том, что все отношения могут быть урегулированы уже и на таком уровне анализа. А все, наверное, несколько сложнее, и существенными окажутся именно частные сложности, а не общие представления. Впрочем, в подобных изысках присутствует очаровательная наивность: выделить из народов по среднементальному или максимальноментальному представителю и выпустить их друг другу навстречу: как бы вариант Пересвета и Челубея, токмо герои не наскакивают друг на друга, не трогательно, пропуская друг друга вперед, переминаются в дверях, а затем рука об руку следуют в ближайшую пивную; соответствуя героям ведут себя и все прочие представители оппозиционных доселе когорт.

Итак, МЫ, которые не латыши. Для этого МЫ решительно неважно, что там еще: человек, родившийся здесь; человек, приехавший полгода назад; человек такого образования, другого, технар, гуманитарий, фарцовщик. Русская культура здесь — что имеется в виду? Русская культура, общая с русской культурой в России теперь — одно. Русская культура как пантеон и некрополь — совсем другое. Русская культура бытовых обычаев — вовсе третье. Что имеется в виду? Пока получается так, что в качестве оной выступает

возникающее в правой части противопоставления «латышское-нелатышское» (а у вас? а у нас...). При этом частные, человеческие отличия не важны вовсе, что прямо подразумевается в текстах. Штешенко, например, работает просто по методу «все мужики одинаковы»: «Нелатышская община в Латвии — это технократы, рабочие, служащие. Как птица с одним крылом. Рацио без эмоций». Где же тут автору подумать о том, например, что технократы эти — наименее закомплексованная часть «нелатышской общины»: и по образованию, и по уму, и по тем постоянным связям с Россией, которые существуют у них хотя бы по делам службы (здесь, видимо, случай «эмоций без рацио»: «Птица с одним крылом» — это как раз из Пугачевой, на которую автор набрасывается тремя страницами ниже).

Сама эта разрабатываемая оппозиционность приводит честных людей в какое-то замешательство, читать их тексты часто неловко: взрослые и умные люди старательно доказывают, что они имеют право здесь быть, что родина для них ассоциируется уже с Латвией, что они, хоть и с акцентом, но могут по-латышски: да разговор ведь о вещах элементарнейших, о которых между порядочными людьми и говорить-то срамно: не свою воспитанность, разумеется, говорящие утврждают, это все та же необходимость создать что-то такое, что нас бы всех однозначно урегулировало. Всех МЫ. Да в конце концов черт с ним, с этим гражданством, черт с ней, с этой будущей республикой, если там окажется то же самое — какая разница «коммунизм — светлое будущее» либо довлеющая стране национальная идея, привыкли, а жить — здесь.

Впрочем, не следует недооценивать опыта существования в те же брежневские и прочие времена, это ведь опыт колоссальный и редчайший — именно личного существования: да будь у чанцев машина времени, они бы толпами слали монахов в СССР — для прохождения ускоренного курса полного погружения в майю. Впрочем, оказывается, на личном уровне у всех авторов все вроде в порядке. Так значит можно жить, не изобретая для этого что-то специально?

При устройении МЫ всегда требуется тем или иным образом создать модель, схему элемента этого МЫ (напри-

мер — автоматическим подчинением его цели). Но для русского эта модель теперь не может быть локальной — очевидно изменение модели общерусской (взять хотя бы весь этот сырбор в публицистике). Момент очень серьезный: МЫ задаваемо извне, идеологией. И это вопрос устройства государства: ориентироваться ли тому на отдельного человека или же на массу — на идеологию. А из Риги глядя, уже видно, увы, насколько схожи все внеположенности. Ну что раньше было, как это писал в своем варианте гимна Твардовский, в 60 году: «Твои враги — враги свободы, ее друзья — всегда с тобой»; так же и теперь: «светлые силы», «темные силы». И каждый, разумеется, — светлая. Шкряб продолжается.

Можно обратить внимание — насколько разнообразны помешанные в сборнике статьи: здесь и lamentации, и личные извинения, и попытки оценить ситуацию с высоты полета времени, и предложения искренних и несурзных рецептов устройства жизни: выделить мастерские художникам-не членам Союза художников, пусть те за это осуществляют участие в эстетическом воспитании. Нет, то есть предмета разговора. Этот предмет и должен составить организуемое МЫ, идет загрузка новым содержанием прежнего термина.

Теперь о способах, которыми МЫ предполагается быть устроено. (Проблема, вообще говоря, заключается в том, что некоторое описание мира оказалось недостоверным, испортилось, взамен чего требуется — привыкшему к обязанности внешнего описания человеку — составить описание новое. Такие описания нейтральными не бывают, всегда образуя собой некоторую стрелку.) Так вот, способов — два: статический, скажем, и динамический.

Статические — когда нелатышское население пытаются вписать в искусственно составляемую структуру. С точки зрения политической — внутри все той же оппозиции — это, казалось бы, вполне разумно: речь идет об устройении некоего договора о межнациональных отношениях. Но здесь не оговаривается время: то ли такие рамки требуются для теперешнего баланса отношений, то ли молчаливо подразумевается, что устанавливаемый характер отношений оформляется как

бы навечно. Последнее — плохо уже и политически. «Русская модель» теперь создана быть не может — либо неминуемо окажется заидеологизированной. Да и то: тщетно предполагать, что реально сбалансированные отношения можно устроить директивно. Волевые же усилия подразумеваются постоянно. Вот фраза: «Я убежден, что катарсис-88 был необходим». Что такое «был необходим»? Это — катарсис ли, неважно что — произошло и все. При чем тут какая-то заданность?

Что предлагается в качестве таких статических моделей? Предлагается прежде всего прецедент: опыт русской культуры во времена Латвийской Республики. Но опираться на этот прецедент — значит опираться на опыт полувекковой давности, хотя с тех пор изменились чуть ли не все отношения между общинами — и количественные соотношения, и отношения идеологические и пр. Опирайтесь на 20—30-е трудно еще и потому, что та культура — при всей ее пышности — уже и сама была обращена назад: ведь сколько в ней участвовало эмигрантов — которые приходили в себя после шока, ждали изменения ситуации, надеялись и продолжали жизнь прежней России. Были ли они действительно латвийцами? Вряд ли. Да и было ли им это нужно? Начинать жизнь с опыта людей, здесь вынужденных жизнь заканчивать, пожалуй, нелепо. (Ну, а о том, что знать все это надо — какой разговор.)

Вопрос, впрочем, о самом понятии культуры. Вот цитата: «В старой Латвии, как мне кажется, удалось сохранить часть русской культуры. Сегодня в Латвии русский культурный слой, что тончайшая пленка». Не уточняя для автора смысл термина «культурный слой», отметим, что, видимо, есть два основных варианта ощущения культуры — та либо непосредственно связана с местом обитания, корнями, «почвенная», либо она нечто иное: воздух на части можно разделить только насильем, и от культуры, понимаемой так, человек окажется оторван, лишь если устроит это себе сам. В Риге уповать на русские корни — насильно загонять себя в клетку. Второй же вариант вовсе не абстрактен и реализуется, например, в языке. О какой оторванности от корней, культуры и этноса может идти речь, когда любое употребляемое слово уже содержит в себе всю предыдущую историю и страны, и языка,

и культуры? («Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивала все другие факты полнотой бытия, представлявшей только недосягаемый предел для всех прочих явлений русской жизни... Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, — именно: язык. Столь высокоорганизованный, столь органический язык не только — дверь в историю, но и сама история... У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек акрополя, маленький кремль...» [О. Мандельштам «О природе слова»].) И ежели подобное мнение читателя не удовлетворило вполне, то, полагаю, все же несколько уменьшило его опасения касательно растворения и утери «национальной идентичности» в условиях отсутствия специальных предотвращающих мероприятий.

В. Попов выступает с пакетом детализированных предложений по, как он пишет, вопросам «восстановления и развития культуры»: «Одним из путей возрождения русской культуры в Латвии является создание русского культурного центра. В Риге в настоящее время работают отдельные хоровые, танцевальные, музыкальные объединения, но они разобщены, их деятельность связана с энтузиазмом отдельных профессионалов. Чтобы культура могла развиваться как целое, нужна консолидация всех творческих сил в едином центре, который должен существовать не только организационно, но обязательно иметь помещение, где была бы возможность постоянного духовного взаимообогащения представителей разных областей культуры и где они могли бы совершенствовать свое мастерство под руководством профессионалов и с последующим выходом на широкую аудиторию».

Интересно представить себе консолидацию группы «Поползновение» с Детским музыкальным театром. Впрочем, возникновение очередного не то Нью-Васюков, не то Города Солнца не удивительно, ведь для автора цитаты неизбежен вывод, что «культура — форма политики». Культура как средство «мымизации» населения: ввести на всех уровнях обучения факультативный курс изучения истории религии.

«Знакомство с Библией — как с Ветхим, так и Новым заветом — необходимо каждому культурному человеку». «Ввести», «установить», «необходимо каждому культурному человеку», «но сегодня этого недостаточно» — говоря о том, что «писатель участвует в процессе формирования культуры своим творчеством». Последнее, впрочем, вполне уже в дворцосъездовском духе выступлений о том, что писатели в долгу перед народом. Как только культуру принимают централизовать, так термины подобного сорта возникают автоматически.

А вот динамика, протяженность процесса, опять у Стешенко: «Среди русской интеллигенции не нашлось такого лидера — даже близко нет, — как академик Лихачев, чтобы за ним пошла русская община». Прежде всего, видимо, следует вывести из-под подобного цитирования самого Д. С. Лихачева, который, полагаю, вряд ли согласен с тем, что всех куда-то ведет; авторы же статей, да и чуть ли не вся пресса Латвии, выбрав почему-то именно его, превратили академика в род птички, выскакивающей из каждого упоминания его имени со словами: «ребята, давайте жить культурно!» Не думаю, что Лихачев применяет к себе этот термин: людей он уважает, а быть духовным лидером значит внятно декларировать свое к ним неуважение — не доверять им. Потому что зачем обременять лидерством людей, которым доверяешь. «Но с другой стороны, — продолжаем цитировать Стешенко, — окажись сейчас Лихачев, или кто-нибудь другой равный ему, пошли бы за ним местные "русскоязычные"?»

А куда, собственно? Обратим внимание на возникающий при подобной ходьбе парадокс: подобный лидер, дабы оказаться воспринятым всей «русскоязычной общиной», должен акцентировать моменты, разноязычные общины объединяющие: он то есть должен стать новым, местным Христом, разогнать АНКОЛ, аннулировать прочие национальные культурные образования, минимуме усилить противоречия «латыши — нелатыши». Впрочем, излишне серьезно подобные призывы воспринимать нельзя. Здесь в виду имеется что-то такое... вообще... хорошо бы... На уровне восприятия: «Похоронив Ю. Андропова, мы с помощью К. Черненко быстро

забыли его призыв идти к цивилизованности».

Может быть, попробовать обойтись без этого нового «мы» и групповых перемещений в кем-то указанном всем направлении? Может быть, не надо так нервничать: если шанс — объективный и естественный — для существования и развития русской культуры в Латвии есть, то он будет реализован, а точнее — реализует себя сам, без целенаправленных усилий специальных людей? Просто заставит использовать себя?

Ведь всего только год прошел после написания текстов этой книги, а что они теперь значат? Многие проблемы ушли, о многих вещах говорить уже незачем, все развилось естественным образом. Может быть, хватит концепций по устройству жизни, хватит людей, которые знают, как жить всем как надо? Структура «межнациональных отношений» пока не оформилась, так,

может, не надо ее искусственно, а следует подождать? Может быть, можно обойтись без духовных лидеров и выстраивания людей в очередные добровольно-принудительные шеренги? Может, пусть люди живут своей жизнью, а не им придуманной? Ну да, они, наверное, плохие, такие-сякие, не всегда культурные, обычные, без идеалов, «инертная масса», но если бы они были не в состоянии выжить без чьих-либо советов, то род людской пресекался бы на Адаме и Еве.

На международной конференции, посвященной роли духовных традиций в жизни человека, председательствующий Аллан Уотс — американский писатель и автор многих работ по данной тематике — задал участникам первый вопрос: «Что должны мы делать для достижения просветления?» «Ничего», — ответил тибетец Тартанг Тулку. Удовлетворенный председатель объявил конференцию закрытой.



## ПЕВЕЦ ДВУХ ПРОВИНЦИЙ

Забывтый всеми писатель Андрей Васильевич Задонский представлял сразу две культуры, усвоенные им с детства.

Родился он в 1893 году в Гольдингене (ныне Кулдига). Мать — курляндская немка Мария Бюргер, дочь священника. Отец — В. А. Задонский — украинец, владевший родовым имением в Харьковской губернии, окончил гимназию в Гамбурге, потом учился в Риге, дипломированный агроном. В истории Рижского политехникума он остался как автор гимна русской студенческой корпорации «Фратернитас Арктика»: «Мы держим меч и твердо сносим горе».\*

Детство Задонский провел в отцовском имении. Гимназию окончил в Житомире.

С 1920 года он живет в Кулдиге. В 1934 г. женился на Элизабете-Амалии Лихтенштейн, которая родилась в Газенпоте (Айзпите). Гимназию окончила в Харькове, там же работала учительницей. Учителемствовала и в Кулдиге, потом была экономкой у пастора Виктора Лихтенштейна.

Проживая в Кулдиге, Задонский вникает в жизнь Курляндии, которую извездил вдоль и поперек благодаря родственным связям по материнской линии и участвуя в концертах певческого общества (в свое время он получил и музыкальное образование). Периодически жил и в Риге, где сотрудничал в различных газетах (преимущественно в «Сегодня») и журналах. Выпустил три книги прозы.

В 1939 году выехал с женой в Германию и скончался 28 октября 1941 г. в г. Врешен.

\* \* \*

Начинал Задонский, как и многие пробующие свои силы, стихами, и даже печатал их. Но довольно рано понял, что стихотворство не его призвание.

Герои его книг — музыканты, актеры, «бывшие» люди, чья жизнь оказалась сложенной бурями века.

Но, как часто бывает, по-настоящему писатель проявил себя вовсе не там, где предполагал. Не жизнь большого города с ее роковыми страстями, не жизнь кулис приобрела под его пером подлинность и художественность. Наоборот, жизнь маленьких городков, жизнь провинциаль-

\* Петр Пильский. Русские студенты в Балтике. — «Сегодня», 1933, № 246.



ных «столиц» с забавными и трогательными зарисовками, моментальными фотографиями, с атмосферой доподлинности.

Задонский описал две провинции. Первая — это Житомир, хотя название города ни разу не произнесено. Но хроника жизни Куприна\* ясно говорит, что описываемое в воспоминаниях «Автор „Поединка“» относится к 1915 году, когда Куприн жил в Житомире, где женился на Е. М. Гейнрих и где родилась его дочь Зинаида.

И воспоминания о Куприне, и воспоминания о Сологубе ценны не столько сведениями об этих больших писателях, сколько «сфотографированной» жизнью этого русско-украинского города, великолепно передающей такое трудно расшифровываемое понятие, как провинциальность.

Второй провинцией, описанной им, была Курляндия, или, как она уже стала называться по-латышски, Курземе. Эта часть Латвии после первой мировой войны во многом сохранила уклад старой остзейской провинции в силу ее географической обособленности и специфического исторического прошлого. Исчезли бароны, владельцы латифундий и замков, суровые пастыри душ, жившие в богатых пасторатах. Но остались другие немцы — врачи, мастера, адвокаты, портные, агрономы, фотографы, люди, значительно более демократичные, остались доживать носители того образа жизни, из-за которого так часто в очерках Задонского встречается термин «бидермейер», что означает стиль первой половины XIX века, являвшийся бюргерской разновидностью ампира. Осталась еще атмосфера того, что сами эти «последние могикане» называли *gemütlich*.

И вместе с тем краем уже владеет земледельцы-латыш. Еще живут немецкие гезангферыны, но с куда большей силой проявляют себя латышские певческие общества, потому что поет уже весь народ. Еще сказывается отрезанность этих городков, особенно в зимнее время, из-за того, что не везде проложены железные дороги. Но все чаще по дорогам Курземе снуют легкие автомобили, на которых можно колесить между Либавой, Виндавой, Гольдингом и Цаббельном, впитывать их облик и пытаться передать своеобразие их на бумаге.

А кругом уже берет верх новый хозяин земли, крепкий, коренастый, медлительный, все звонче голоса румяных, светловолосых латышек, все громче трубы духовых оркестров на народных гуляньях.

Словом, А. Задонский запечатлел неповторимый, быстро ушедший период жизни Латвии, занавесом за которым упал 1939 год, когда Гитлер потребовал от всех прибалтийских немцев вернуться в фатерланд, невзирая на то, что многие из этих немцев уже срослись со средой, успели иногда в переносном, а иногда и в прямом смысле сродниться с латышами и в меру своих сил способствовали процветанию края.

Будучи наполовину немцем, но являясь человеком чисто русской культуры, позволяющей ему с пониманием относиться к коренным жителям, которые стали устраивать жизнь по своему разумению, по своим обычаям и верованиям, также уходящим корнями в вековое прошлое, Задонский не мог не понимать, что, по сути дела, он покидает свою подлинную родину.

Земля Латвии всегда была почвой интернационального общения, когда каждый народ отражался в зеркале друг друга, от чего выигрывали все вместе.

Введение в обиход культурно-психологических очерков и зарисовок Андрея Задонского помогает лучше и богаче восстановить прошлое и тем самым обогатить настоящее.

Юрий АБЫЗОВ

\* Ф. И. Кулешов. Творческий путь А. И. Куприна. 1907—1938. — Минск, 1987.

## I. АВТОР «ПОЕДИНКА»

Памяти А. И. Куприна

... В те времена учащиеся еще питали большую склонность, почти страсть к литературе. Так было и у нас, в нашей старой короленковской гимназии южно-русского губернского города — в ней несколько лет учился Короленко и описал ее потом в «Истории моего современника». Правда, и в нашем классе появились уже страстные футболисты, но и тем еще не были чужды литературные споры и даже участие в кружках.

Помню, как народился один такой наш кружок: товарищ, очень любимый всем классом, заболел воспалением легких, долго потом отлеживался, выздоравливая, у его постели собирался в те недели добрый десяток одноклассников для совместного чтения и обмена мнениями. Товарищ выздоровел, но кружок не распался, собирались каждую неделю и читали Гоголя и Диккенса — именно эти двое в те годы были нашими общими кумирами.

Потом, с течением времени, кружок разделился, — потому, вероятно, что это были годы наших бурь, натисков и исканий. В те времена я, каюсь, изменил на время кружку, оставшемуся верным Гоголю и вообще русской классике, — я примкнул к нашим «эстетам». Может быть, это был снобизм, — в те годы это казалось совершенно искренним. Эстетизм зародился сначала чисто внешне — вдруг у одного, другого, пятого из нашей кучки появился этакий протест против лохматых, месяцами нестриженных «студенческих» волос, против грязных ногтей, запачканных мелом курток, нечи-

щенных сапог, — вдруг захотелось стать «денди». Начали помадить волосы, душиться, ревниво утюжить складки брюк, даже пудриться, отправляясь на гимназические балы. Может быть, сказывалось и влияние наших одноклассников-поляков, всегда имевших склонность к внешним эффектам.

«Дендизм» появился и в литературных вкусах. Кажется, первым из всех я прочел Уайльда, его сказки и Дориана Грея, который стал нашим кумиром. Каждому захотелось стать хоть немножко Дорианом, хоть немножко лордом Генри. Появилось презрение к излишним сентиментам и народничеству, к неумению причесываться и носить галстук. За Уайльдом появился д'Аннунцио, потом жадно набросились на Мопассана, на Флобера.

Именно в это время вышел в свет наш гимназический ежемечесник, — я был его редактором и главным сотрудником. В нем и вокруг него загорелись страсти. Конечно, давали место и «оппозиции». Нашлись такие, что с пеною у рта защищали даже Златовратского. В журнале появились памфлеты, — я писал их на народников, те на Уайльда. Но так как у нас была «власть», эти последние появлялись только мелким шрифтом, снабженные ядовитыми «комментариями».

И вот в это время обострившихся литературных споров и разделившихся кружков всех нас поразила весть: в наш город приехал Александр Иванович Куприн. Потекли слухи: будто бы выслан из Петербурга или запутался в какую-то историю и уехал сам.

Прибыл с семьей. Поселился в такой-то гостинице. Ищет квартиру. Нашел квартиру . . .

Последнюю весть заинтересовавшегося нашему классу я мог принести из достоверных источников: поселился в том же самом особняке на Пушкинской, где живет француженка, у которой я беру частные уроки. Француженка эта, Алиса Девос, рассказала мне с зажегшимися от любопытства хорошенькими глазками: «Поселился мосьё Куприн — лэ гран экривен рюсс». — И тут же спросила меня, слегка покраснев: правда ли, что он пишет немного неприличные рассказы, даже целый роман, который происходит — ну, в таком доме? . . .

К Алисе я ходил три раза в неделю, изучая с нею французскую литературу. Естественно, что там — на улице, у крыльца, на дворе, в саду — я должен был встретиться с автором «Поединка». И увидел. Первый раз в образе идеального отца семейства: он выходил со двора, толкая перед собой колясочку с каким-то блаженно заснувшим беби. Небольшого роста, полный, не очень идеально выбритый, с косовороткой под обыкновенным гостиндворским пиджаком, — нет, с типом денди у него было мало общего, и первое мое впечатление было разочарование. Тем не менее, я смотрел на него жадно: первый русский писатель, которого я вижу, такой, который упоминается наряду с Чеховым, Андреевым, Буниным, которого печатают «Знание» и крупнейшие журналы.

И часто, сидя с Алисой у окна, выходившего на двор особняка, полускрытые занавеской, мы следили за каждым движением автора «Поединка» и «Ямы», слышали его разговоры с женой и ребенком, его смех, его шуточки — это было платонически, но волнующе.

Потом в квартире Алисы поселилась ее сестра, оперная певица, приглашенная на весь сезон в нашу оперу. Это была Елена Девос-Соболева, в те годы очень известная на юге России певица. Она привезла с собою сына, Димку, который поступил в четвертый класс нашей гимназии. С этим смуглым, черноглазым Димкой многие гимназисты стремились сойтись — обожая по сцене его мать, прелестную Мими, Розину, Гретхен, Татьяну, приятно было подружиться с ее сыном. Мне эта дружба далась особенно легко: после

уроков с Алисой я часто оставался у него, в его комнате, а там меня пригласили на чай, потом на ужин, — уже и потому, что мать его, Елена Викторовна, очень благоволила ко мне и любила, когда я аккомпанировал ей во время ее домашних изучений новых ролей. Естественно, что в доме у Соболевых я стал своим человеком.

И так же естественно, что в доме известной оперной певицы, очень светской дамы, и хорошенькой ее сестры стал бывать и сосед их — Куприн. Так мы и встретились по-настоящему с автором «Поединка».

В ту зиму автор «Поединка» был одним из популярнейших людей нашего города. Его тянули все и всюду. В местной либеральной газете от времени до времени, — и всегда с предварительными анонсами и всеми атрибутами сенсационности, — появлялись его рассказы и фельетоны. Литературно-музыкальные кружки, устраивавшие свои еженедельные вечера в зале Дворянского собрания или Публичной библиотеки, приглашали его наперебой. На афишах и программах имя его печаталось на первом месте — «известный писатель А. И. Куприн прочтет свой рассказ «Святая любовь» . . .»

С этими выступлениями иногда происходили курьезы. Конечно, — за Александром Ивановичем устроители вечеров кого-нибудь посылали. Так как студентов в городе было сравнительно мало, приходилось отбояриваться нам, гимназистам. Подходил час, назначенный для начала литературно-музыкального вечера, уже собрался весь персонал — оперная певица, скрипач — преподаватель музыкального училища, какой-нибудь мировой судья, славившийся исполнением думок Шевченки, какая-нибудь мадам Лащ, жена прокурора, томно мелодекламировавшая Апухтина и Щепкину-Куперник, — только не хватало еще Александра Ивановича. Конечно, его выступление предполагалось во втором отделении, под самый занавес, но все же — «Ах, лишь бы не запил, голубчик, — стонали устроители, — ищи его тогда . . .» — и высылали гонцов.

Снабженные щедрыми «казенными» деньгами, брали мы лихача и гнали на Пушкинскую. В очень редких случаях находили его в «лоне семьи». Но чаще всего приходилось совершать объезд всего города, пока удавалось найти Куприна.

У Елены Викторовны Соболевой сложилось нечто вроде «салона». На ее вечера в небольшой, но изящной квартире собирались артисты оперы, местные литераторы и музыканты, да и другие «сливки». В тот год, к весне, в опере пело несколько крупных гастролеров — в «Пиковой даме» выступал старик Медведев, в «Демоне» Бакланов, выступали Цесевич, Дыгас, концертировал даже Шаляпин. Почти все они бывали и у Елены Викторовны. Там мы с Димкой приглядывались к этим знаменитостям, откупоривая для них пиво, подставляя пепельницы, иногда получая приятельские хлопки по плечу. Только когда сопровождал я Елене Викторовне, я на время входил в круг яркого света, кидаемого люстрой под огромным японским зонтиком. И однажды, именно после такого аккомпанемента, еще не успев нырнуть в тень стыдливого своего мальчишества, разговорился я с автором «Поединка».

Он усадил меня рядом с собою, налил ликеру, стал расспрашивать. И через несколько минут уже я сознался ему, что «тоже пишу». Он так мило, по-дружески заинтересовался. — «Вот когда-нибудь, когда уже будет тепло, сядем мы с вами в саду и вы прочтете мне...»

Этой теплоты пришлось ждать довольно долго. Но все-таки она настала. Именно в саду, в старой беседке, окруженной цветущей благоухающей сиренью, я прочел ему. Он сидел напротив, расстегнув ворот рубашки, это был автор «Поединка» и я читал ему. Я прочел рассказ, в котором описал случай, происшедший в нашем городе. Как столяр Щастный, горький пьяница, до полусмерти избивавший

жену, дал зарок владыке, настоятелю монастыря, не пить больше. Выдержал полгода, а потом запил горше прежнего и вечером, осенью, пьяный, пришел в монастырский сад, лег в овраге между кучами опавших листьев и сказал монахам, что не выйдет оттуда, пока владыка не простит его. Лежал, обливаемый дождями, овеваемый ветрами, тьмой, листопадом, не брал в рот ни капли воды, ни крошки просфоры, что носили ему монахи, — пока, под вечер третьего дня, не спустился к нему в овраг владыка, известный в наших местах праведник и богоугодный молитвенник. И описал я, как владыка простил пропойцу-столяра, как на дне оврага встретились эти два человека: голодный, мокрый и страшный пропойца и аскет-молитвенник, холеный владыка и князь церкви. Помню, как радостно для меня и чудесно это место дошло до Александра Ивановича — как он кивал мне головой...

Несколько лет спустя этот рассказ был напечатан в харьковском «Южном крае». И еще много лет спустя я читал его на литературном вечере в Риге. Но тогда я еще не знал этого, вообще не знал, что «буду писать». Тогда голос мой еще дрожал от волнения первичности и молодости. И это волнение так славно понял автор «Поединка».

Теперь его не стало. Но этого весеннего утра в старой беседке провинциального сада, в милом волынском городе, этого запаха сирени и весны, и этого часа, проведенного с милым русским писателем, — с автором «Поединка», — я никогда не забуду.

[«Сегодня», 1938, № 247]

### ОБ АУТЕНТИЧНОМ МАРКСИЗМЕ

Исследователь, хоть более или менее углубившийся в изучение аутентичного марксизма и аутентичного ленинизма, очень скоро приходит к выводу, что это две совершенно разные вещи. Попытаюсь выразить эту разницу словами патриарха русского марксизма Г. Плеханова, сказанными им в 1917 году в брошюре «О тезисах Ленина («апрельских»). — С. Ч.) и о том, почему бред бывает подчас весьма интересен» (издание Марии Малых, Петроград, 1917): «Маркс говорит в знаменитом предисловии к не менее знаменитой книге (...) (К критике политической экономии): «На известной ступени своего развития производительные силы общества вступают в противоречие с существующими в этом обществе отношениями производства, (...) внутри которых они развивались до сих пор (...) эти отношения превращаются в препятствие (...) Тогда наступает эпоха социальной революции». Это значит, что далеко не во всякое данное время возможен переход от одного способа производства к другому, высшему (...) Теперь спрашивается, как же обстоит дело с капитализмом России (...) Он уже не способствует развитию производительных сил страны, а наоборот, препятствует ему? (...) По известному выражению Маркса, ее трудящееся население страдает не только от капитализма, но также и от недостаточного развития капитализма (...) Совершенно ясно, что о социалистическом перевороте не могут говорить у нас люди, хоть немного усвоившие себе учение Маркса (...) Ленин (...) разрывает со всеми, — основанными на теории Маркса, — предпосылками социалистической политики и (...) переходит в лагерь анархистов, которые всегда неустанно призывали рабочих всех стран к совершению социалистической революции, никогда не справляясь о том, какую именно фазу экономического развития переживает та или иная отдельная страна (...) Если капитализм еще не достиг в данной стране той высшей своей ступени, на которой он делается препятствием для развития ее производительных сил, то нелепо звать рабочих (...) к его низвержению (...) Кто-то из наших товарищей (...) в Совете рабочих и солдатских депутатов напомнил ему глубоко истинные слова Энгельса о том, что для данного класса не может быть большего исторического несчастья, как захват власти в такую пору, когда его конечная цель остается недостижимой по непреодолимым объективным условиям. Ленина в его нынешнем анархическом настроении, разумеется, не может образумить подобное напоминание. Всех тех, которые возражали ему в Совете (...) он оптом величает оппортунистами, поддавшимися влиянию буржуазии и проводящими ее влияние на пролетариат. Это опять язык анархиста. Если читатель даст себе труд перелистать старую книгу М. А. Бакунина «Государственность и анархия», то он увидит, что отцу русского анархизма сам Маркс представлялся оппортунистом, поддавшимся влиянию буржуазии и проводящим ее влияние на пролетариат. Да иначе и быть не могло. В анархизме тоже есть своя логика. Все тезисы Ленина вполне согласны с этой логикой. Весь вопрос в том, согласится ли русский пролетариат усвоить себе эту логику. Если бы он согласился (...) то пришлось бы признать

бесплодными наши более чем тридцатилетние усилия по части пропаганды идеи Маркса в России. Но (...) в призывах Ленина (...) наши рабочие увидят (...) безумную и крайне вредную попытку посеять анархическую смуту в русской земле (...) Если эта безумная и крайне вредная попытка не встретит немедленного энергичного и сурового отпора с их стороны, то она с корнем вырвет молодое и нежное дерево нашей политической свободы».

Можно указать еще много отличий ленинизма от марксизма, но это, столь великолепно описанное отцом русского марксизма Плехановым еще до октябрьского переворота, было самым существенным. «Молодое и нежное дерево» российской политической свободы было с корнем вырвано, а социализм построен не мог быть и не был. Россия в своем развитии от первых фаз капитализма откатилась назад к рабовладельчеству, а потом к феодализму.

Человечество в своей истории дало образцы очень многих и весьма разнообразных общественных систем, которые стопроцентно одна с другой никогда не совпадают. Можно по-разному классифицировать это разнообразие общественных устройств, отыскивая те или иные общие признаки. Одной из таких классификаций является и марксова поступательная схема: рабовладельчество — феодализм — капитализм — социализм. Она вполне приемлема, конечно, если не смотреть на нее как на абсолют, исключаящий все другие возможные классификации.

Рассмотрим попристальней общественную формацию, по традиции называемую социализмом. Мысль о таком обществе существовала задолго до Маркса. В воззрениях его предшественников можно выделить три группы: — мечтатели (классический представитель — Томас Мор) писали о воображаемом ими идеальном обществе, но не предпринимали никаких шагов к его достижению;

— хозяйственники (типичный представитель — Фурье) организовывали реальные коммуны, пропагандировали свои идеи, но не покушались на власть в обществе;

— террористы (яркий представитель — Нечаев) старались силой навязать обществу строй, казавшийся им идеальным.

Маркс явил собой основателя нового, четвертого течения, которое мы могли бы назвать предсказателями. Он предсказывал, что общество своим естественным ходом придет к социализму. Он не исключал (а даже ожидал), что для перехода к социализму понадобится насилие (эта «повивальная бабка» нового), как оно потребовалось для предыдущих переходов от одной формации к другой, но под этим революционным насилием всегда подразумевалось насилие большинства народа над меньшинством эксплуататоров, не дающих действовать демократическими методами (т. е. насилие против тирании), но никак не насилие секты меньшинства против демократии и воли большинства народа.

Ленинизм представлял собой некий гибрид терроризма типа Нечаева и Марксова прогнозирования. Уверовав в Маркса с истинно религиозным чувством, Ленин, во-первых, в прогнозах Маркса увидел обещанную богом гарантию успеха своих начинаний и, во-вторых, повсюду толковал Маркса искаженно, под своим углом зрения: например, «революционное насилие», по Ленину, было допустимо уже (и даже необходимо) для меньшинства народа, объявившего себя «прогрессивным», против демократии и большинства, а социализм такой, до какого, по прогнозу Маркса, человечество должно было естественным путем дорасти, по Ленину — уже подлежал немедленному внедрению.

Итак, ленинизм отличается от марксизма главным образом средствами достижения цели. «Путь Ильича» не есть путь Маркса. Отметим, что именно этот путь Ленина и привел к катастрофическим последствиям. Путь терроризма не давал возможности остановиться или свернуть в сторону. Путь Маркса же давал возможность корректировать прогноз, если он не оправдался, и вообще не допускал действий против демократии и воли народа. Путь Маркса не был опасен, даже если цель ошибочна. Путь Ленина был опасен, даже если цель праведна.

## РСДРП... ВКП(б)... КПСС... ЧТО ДАЛЬШЕ?

70-летняя история Советского Союза — это история правления государством одной партией. Анализ истории показывает, что все наши беды проистекают из монополии на власть.

Можно ли было избежать большинства ошибок и кризиса? Безусловно! Если бы в Советском Союзе изначально существовала многопартийная система власти.

Коллективизация, пожалуй, самый роковой просчет ВКП(б). Но разве крестьянская партия дала бы своих крестьян на закланье Сталину?

Мы осуждаем уничтожение и высылку интеллигенции. Но разве случилась бы такая беда, если бы на равных с компартией имела в стране, скажем, либерально-демократическая партия?

Христианские демократы воспрепятствовали бы разгрому Церкви и дискриминации верующих.

Наконец, рабочая партия не допустила бы такой чудовищной эксплуатации рабочих, которую организовало государство.

Наверняка правящей партии не дали бы так просто и легко осуществить такие внешнеполитические авантюры, как введение советских войск в Венгрию, Чехословакию, в Афганистан. Не позволили бы проводить безумные экологические эксперименты, гробить силы и деньги на «стройки века». Правящая партия не рискнула бы расстрелять демонстрацию в Новочеркасске в 1962 году и подавить военной силой митинг в 1989 году в Тбилиси.

Можно и далее продолжить список неразумных и преступных деяний в масштабе государства, совершенных по причине полнейшей безответственности однопартийной системы, но уже ясно, что таковая противоречит законам диалектики и заводит страну в тупик. Не только нашу страну.

Обладая монополией власти, ВКП(б) — КПСС за все 70 лет смогла выдвинуть только одного деятеля, достойного великой страны, — Михаила Горбачева. Да и то в такое время, когда страна находилась в состоянии перманентного кризиса, накануне экономического и экологического коллапса.

Ну что ж, будем благодарны Господину Случаю и Госпоже Судьбе за то, что наконец-то нам выпала не всегдашняя решка, но — орел!

А если бы... Если бы не случай, то все по-прежнему катилось бы в тартарары, и самое богатое воображение не могло бы представить, чем бы все кончилось.

То, что монополия власти приводит государство в тупик, стало ясно народам Алжира и Бирмы. К этому же пришли народы Восточной Европы. Я рад за них. Но мне обидно за свой народ.

Говорят: не доросли... Говорят: однопартийная система в России — историческая традиция, и нам судьба до конца света двигаться по однокольной дороге.

Оставим унижительное «не доросли» на совести авторов такого довода в пользу монополии на власть. Алжир дорос, а Советский Союз, видите ли, нет!

Что же касается ссылки на фатальность и традиции истории, то это для тех, кто просто ее не знает.

А история такова, что в России уже в 1905 году установилась конституционная монархия. Появился первый российский парламент — Государственная Дума, в которой был представлен весь спектр тогдашних партий: от левых — «большевиков» до правых — «Союза русского народа». Эта многопартийная радуга представляла мнения и интересы всего русского народа.

Пусть выборы в Думу были несовершенно; пусть у Думы не было той власти, которой обладал, скажем, британский парламент. Но ведь это были первые шаги на демократическом пути, в ходе которого Дума подчас вступала в конфронтацию с императором. К слову: съезды ВКП(б) — КПСС ничего подобного себе не позволяли, а «целиком и полностью поддерживали и одобряли» все, что изрекал «отец народов» и его наследники. Поддерживали и одобряли все, даже если это было чистейшим абсурдом.

Я уж не говорю о сталинско-брежневской пародии на народное самоуправление — советской Думе — Верховном Совете — чистейшей декорации тоталитарной системы, пытавшейся закамуфлировать свое бесчеловечное естество перед заграницей.

Если говорить о причинах Февральской революции, свергнувшей самодержавие, то наряду с безумной войной, дезорганизовавшей хозяйство, досмерти надевшимися всем Романовыми и их камарильей, следует отметить и 12-летнюю деятельность Государственной Думы, разбудившей народное самосознание. Народ входил во вкус жизни в условиях многопартийной республики! И не его вина, что путь эволюции был искусственно прерван в январе 1918 года, когда ВЦИК разогнал Учредительное собрание...

Последующая однопартийная система власти, объявленная как диктатура пролетариата, быстро выродилась в жесточайший тоталитаризм. 50 лет тоталитаризма! Может быть, и его следует сохранить, исходя из исторически сложившихся традиций?!

Опыт существования тоталитарного государства показывает, что народ можно превратить в покорную толпу, можно поставить на колени, привести миллионы к общему знаменателю. Это достигается истреблением многослойности народа. Так, в Советском Союзе были уничтожены целые слои общества: дворянство, казачество, крестьянство, офицерство, духовенство, интеллигенция, и, наконец, наиболее грамотная и образованная часть рабочего класса, от имени которого выступала партия. Кроме того, народ был надежно изолирован от информации, которую заменил демагогический и лживый агитпроп.

Народ, лишенный многослойности, вырождается.

Власть, основанная на монополии одной партии, загнывает.

Полнейший абсурд, что одна партия может выражать интересы и взгляды всего народа. Чистойшей фикцией, что, мол, народ и партия едины — не едины даже соседи по лестничной площадке, по койке в больнице. Если, конечно, говорить не о единстве винтиков с одинаковой нарезкой.

Сам ход истории показывает, что формула: один народ — одна партия — один вождь — ложна. Доказательства тому нынешняя революция в Восточной Европе, где в мгновение ока рассыпались тоталитарные однопартийные режимы!..

Утверждают, что именно партия начала перестройку в Советском Союзе и что по сему случаю народ должен доверять и всячески ее благодарить.

Инициатор перестройки один — Михаил Горбачев. Но и он начал не на пустом месте. В 70—80-е годы сотни людей боролись за права человека, за свободу творчества, боролись против вторжения советских войск в сопредельные страны; против безумных планов «покорения природы». Этих людей брежневский режим бросал в концлагеря, сажал в психушки, высылал за кордон. Формально эти люди не добились ничего, но, будучи предтечей перестройки, они подготовили для нее почву.

Поскольку партия единодержавно правила страной, то на партию ложится вся ответственность за все, что случилось со страной и в стране за 70 лет. И естественно, что у народа исчерпан лимит доверия к правящей партии. Доверия нет, есть притерпелость, а это, разумеется, разные вещи. Да и притерпелость кончается, чему свидетельство избирательные бюллетени с вычеркнутыми фамилиями партийных функционеров.

Вместо признания исторической вины партии она по каплям выдавливает кое-какие погрешения прошлых лет: вот Ахматова... вот Афганистан... вот Прага... Но в грехах обвиняют то Сталина, то Жданова, то Брежнева и Суслова. Но ведь именно партия породила этих монстров! Породила, взяв на себя ответственность в одиночку управлять государством. Породила, монополизировав власть.

Говорят и требуют доверия к партии. Но может ли оно быть к той партии, членами которой были Сталин и Брежнев, Ежов и Адылов? Может ли оно быть, если партия мирится с тем, что могилы Сталина, Брежнева находятся у стен древнего Кремля? А урны с прахом недостойных людей замурованы в его стенах?

И сейчас в партии находятся совершенно разные люди, исповедующие разные идеи. Вот писатель Бондарев, требующий вернуть Волгограду его «историю»

---

Напомним, что автором идеи о том, что однопартийная система сложилась в России исторически, был Сталин. Именно он в сентябре 1927 года, отвечая на вопросы первой американской делегации рабочих, объявил « монополия нашей партии выросла из жизни, сложилась исторически»



ческое» название — Сталинград; вот химик из Ленинграда Нина Андреева и пенсионер из Анапы Игнат Чебукин, выступающие с неосталинистскими манифестами на страницах «Советской России»; вот писатель Буйлов, бьющийся в антисемитской истерике на пленуме союза писателей России; вот писатель Карпец на том же пленуме поднимает зал в память убиенной семьи Романовых (и зал . . . встает!); вот секретарь Ногинского горкома, увольняющий редактора газеты за то, что тот печатает речь коммуниста Юрия Афанасьева; вот функционеры Ленинграда во главе с Гидасповым требуют к ответу нынешнее Политбюро . . .

О каком доверии может идти речь к столь разношерстной компании, куда входят сталинисты, антисемиты, монархисты и бог знает кто еще?!

Я верю и доверяю лично Михаилу Горбачеву. Я преклоняюсь перед его титаническим подвигом.

Но я не могу доверять организации, именующейся КПСС. Я не верю в возможность ее лечения терапевтическими средствами, я не верю в возможность ее перестройки и демократизации: слишком она закоснела в своих догмах, слишком она привыкла за 70 лет к единоличной власти, к своим привилегиям.

Я не верю человеку, называющему себя коммунистом, поскольку само это слово дискредитировано. Как я могу доверять начоблупркульта коммунисту Алесину, который запрещает в Воронеже прокат тех советских фильмов, которые ему не нравятся? Конечно же, я вычеркну его фамилию из избирательного бюллетеня!

Само понятие коммунизм стало не более реальным, чем, допустим, выращивание в естественных природных условиях бананов на Земле Франца-Иосифа. Так давайте же сохраним хотя бы идею социализма! Давайте станем социал-демократами! Ежели наша цель — социализм, то давайте вернемся к РСДРП.

Возможно, следует поступить так, как сделали в Венгрии: распустить старую партию и разрешить создание новых партий. Только это может существовено обновить наше общество. Иного пути не дано. В старые мехи влить новое вино невозможно. Прежде чем объединяться, следует размежеваться. Мнимое единство еще никому и никогда не приносило пользы и только загоняло общественные болезни внутрь.

М. М. ГОСТЕВ,  
ветеран второй мировой войны и труда,  
г. Воронеж

## БЫТЬ ИЛИ БОРОТЬСЯ?

Не знаю, как в других странах, но в нашей понятие «бороться за что-то» весьма специфично. Проблема России — это проблема «быть или бороться». В то время, за 80 лет мы, не щадя ни себя, ни других, боролись — за Светлое Будущее, за Счастье, за Социализм, за развитие каждого, которое по теории должно быть условием развития всех, и наоборот, — в других странах люди просто бы ли и свободными и счастливыми. Для западной ментальности понятие «борьбы» — в том безумно-героическом, абстрактно-отвлеченном смысле, в котором оно свойственно нам, — вообще, кажется, отсутствует. «Борьба» для западного человека предельно конкретна, прагматична: она не жертвоприношение во имя далеких прекрасных целей, не отрицание бытия, а его органическое продолжение. Для него немислим дисбаланс целей и средств, будущего и настоящего. Каким бы светлым и желаемым ни было будущее, оно не может зачеркнуть настоящее, его самоценную значимость.

Коммунистическая ментальность в этом смысле прямо противоположна. Еще в 1907 году основоположник «научного антикоммунизма» Николай Бердяев писал: «Ужасна по своей жестокости теория прогресса, доведенная марксизмом до крайнего выражения. Будущее общество, будущее человеческое поколение, совершенное и благое состояние, к которому ведет прогресс, — это какое-то чудовище, пьющее кровь поколений былых и современных, истязующее каждую личность во имя свое, во имя своей отвлеченности. И происходит погоня за

призраком, каждое новое поколение оказывается таким же средством для будущих, как и все предшествующие . . .»

«Погоня за призраком» стала характерной чертой нашего способа мысли за 70 лет безумного строительства «нового мира». Иногда мне кажется, что происходящее в современном неформальном движении — не столько отрицание, сколько органическое продолжение того, что происходило у нас раньше. 70 лет нас к чему-то призывали. Сначала с броневиков, потом с трибуны Мавзолея. И мы вот-вот вздохнули свободно . . . бац — и взамен коммунистического агитпропа появился агитпроп демократический. Другие лозунги, другие идеи — и все тот же психологический настрой, тот же менталитет.

Не помню, кто первым заметил, что чрезмерная политизация жизни — признак общественного нездоровья. Игнорирование или отсутствие в демократическом движении экзистенциального, самоценностного аспекта таких понятий, как «свобода» и «демократия», — признак того, что мы продолжаем идти марксистским путем, пытаясь изменить внешние социально-политические основы нашего мироустройства, но не себя. Опять Н. Бердяев: «Пафос социального равенства всегда подавлял у нас пафос свободы личности. Утверждение же прав личности духовно и морально не связывалось с утверждением обязанностей личности и ответственности личности. Торжествовала безответственная теория социальной среды, порождающая лишь претензии. Личность не признавалась ответственным творцом общественной жизни. Новая жизнь ожидалась исключительно от намерений социальной среды, от внешней общественности, а не от творческих изменений в личности, а не от духовного перерождения народа, его воли, его сознания . . . Такого рода метафизика придает большое значение взвинчиванию масс, агитации, внешним выступлениям без внутреннего, существенного изменения человеческого материала общественности. Так создаются призрачные и совершенно внешние общественные изменения . . .» (Из книги «Судьба России»).

Однажды передо мной встала такая жизненная дилемма: либо вступить в Демократический союз и начать бороться за плюрализм, демократию, многоукладную экономику и т. д., либо никуда не вступать и не бороться за свободу, а пытаться быть свободным человеком. Здесь, в настоящем, сейчас. В сущности, свобода немислима без этих трех определяющих, она предельно конкретна и в пространстве, и во времени, и в субъекте своем. Понятие свободы для меня имеет не политический, а прежде всего глубоко человеческий, экзистенциальный смысл. Говорить то, что думаю, не говорить того, чего не думаю, ходить туда, куда я хочу, и не ходить туда, куда я не хочу. Это — некий минимум, отсутствие которого моментально обесценивает любые программные политические провозглашения.

С точки зрения «экзистенциальной демократии» не толпа, не партии — субъекты человеческого самосознания и творчества, субъектом самосознания может быть только личность, индивидуум. Свобода — индивидуальное понятие по самой своей природе, поскольку понятие это неразрывно связано с мыслью, осознанием мира и себя в мире, с гаммой ощущений, то есть с вещами, немислимыми вне индивидуального своего носителя. После двух лет участия в демократическом движении я пришел к удручающему выводу: я не нашел того, чего искал. А искал я прежде всего психологической альтернативы тому, что происходит вокруг, в человеческих отношениях — самое главное, потому что человеческие отношения — это самое реальное, что существует в этом мире. Я столкнулся с теми же проблемами, что и раньше. А. Д. Сахаров в своих «Размышлениях . . .» заметил, что столь распространенному слову «инакомыслящий» он предпочитает другое, более емкое — «свободомыслящий», которое передает не целевую, а сущностную грань понятия: мыслить не просто «иначе», а мыслить прежде всего «свободно», «самобытно», «независимо». Независимо не только от совдепа: от любой среды, от любых догм и стереотипов, от самого себя наконец. Интеллект, мысль есть нечто изначально «левое», противостоящее реальности. Сартр говорил, что «интеллигенция может быть только левой». Сейчас не модно повторять эти слова Сартра, поскольку в любой и всяческой «левизне» видят источник наших 70-летних бед. Но Сартр не говорил: «рабочий класс должен быть левым», он говорил всего лишь об интеллигенции. Левизна в интеллекте — способ его существования. Будучи спроецированной на общественно-

политическую проблематику, на исторический процесс, в сферу практики, левизна ведет к чудовищным трагедиям.

А. НОВИКОВ, г. Рыбинск

## ОТ РЕДАКЦИИ.

Уважаемый тов. Новиков!

В том плане, в каком Вы противопоставляете понятия «быть» и «бороться», применяя вопрос к конкретным условиям, к тому, как это было «у нас», Ваша оценка нам близка и понятна: всю нашу новейшую историю мы зачеркивали самоценностью бытия, абсолютизируя процесс борьбы. Если говорить только об идеологической установке, навязываемой человеку все эти годы, то двух мнений тут быть не может: Учитель обманывал Ученика, как хозяин — осла, перед носом которого нес пучок сена. Тем не менее у мыслящего человека еще существовал другой ответ на вопрос «быть или бороться»: **бороться, чтобы быть**. Вот эта перспектива была уделом лучших всегда. Философ не нашел бы тут противоречия с фундаментальной формулой, согласно которой процесс и есть бытие. Жаль только, что официальная идеология, направляя жизнь человека, всегда использовала любую фундаментальную идею в своих конкретных целях.

## НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА

*Уважаемая редакция!*

На втором съезде народных депутатов СССР я с недоумением и горечью наблюдал (естественно, по телевизору) за неприличным поведением ряда народных депутатов от прибалтийских республик. Сначала К. Уока из Литвы грубо оскорбил М. С. Горбачева, обвинив его в «маленькой лжи», а потом когда выяснилось, что М. С. Горбачев опирался на информацию, полученную от предстателей самих республик, Уока не пожелал извиниться за свою невоспитанность. Это сделал за него русский интеллигент художник А. Мыльников. Выступившие затем депутаты В. Ландсбергис и А. Бразаускас также не нашли в себе мужества дать ясную оценку этому возмутительному факту.

В другой день после выступления депутата В. Алксниса (Латвия) депутат Ю. Боярс, доцент Латвийского университета, позволил себе также грубые высказывания: «Я хочу отстраниться от него, он земляк только по записи в паспорте».

Не только я, но и многие мои коллеги возмущены этой неприкрытой грубостью и отсутствием элементарной культуры. Где же демократия, плюрализм, терпимость к инакомыслию? Если после первого съезда мы говорили, что прибалтийские депутаты — пример парламентской культуры, то теперь они многое потеряли в наших глазах. Стыдно!

С. А. БАБУШКИН,

доцент Курского педагогического института

**ОТ РЕДАКЦИИ:** Выступление К. Уока, действительно, оставило неприятный осадок. Но уточним: М. С. Горбачева ввели в заблуждение не К. Уока и не литовская делегация, а секретариат съезда, которому за несколько дней до того официально сообщили о назначении К. Уока. Это к тому, что у последнего была причина обидеться, хотя она и не давала повода употребить столь резкое слово. «Ложь» может быть преднамеренной, а тут произошло явное недоразумение.

После того, как все разъяснилось, депутат мог бы извиниться. Непонятно только, почему это следовало, по мнению автора письма, сделать за тов. Уока другим депутатам от Литвы или «русскому интеллигенту художнику Мыльникову». . . . Теперь о Боярсе.

Да, действительно, процитированная фраза из выступления Ю. Боярса не для парламента. Видимо, этот обычно владеющий собой депутат на сей раз

не смог побороть эмоций. Что же касается желания Ю. Боярса «отстраниться от выступления депутата Алксниса», то точно такое желание после выступлений последнего обычно возникает у большинства членов латвийской делегации и у очень многих телезрителей в нашей республике, не симпатизирующих ни консерватизму Алксниса, ни его передергиваниям в национальных вопросах.

Да, мы тоже за вежливость. Мы против «неприкрытой грубости и отсутствия элементарной культуры» Мы также за плюрализм и демократию. И нам было очень больно наблюдать, как председателиствующие на съезде бесцеремонно обрывали депутатов, как они не давали покойному Андрею Дмитриевичу Сахарову закончить начатую мысль, ибо он исчерпал время. И тут же другому депутату, носящему высокое воинское звание, позволялось превышать отведенное регламентом время чуть ли не вдвое. Здесь уместно привести строки из письма москвички Л. Б. Федоровой: «Очень тяжело переживаю гибель Андрея Дмитриевича Сахарова. Потеря невосполнимая, все никак не могу поверить, что больше нет с нами нашего Великого Защитника. Вспоминаю, как скромно он стоял в очереди к трибуне, как его обрывали, не хотели слушать, шумели в зале. Боже мой, как стыдно! Помню его растерянное лицо, и у меня комок появляется в горле... Стыдно и больно!!!» А сколько нетактичных замечаний и речей звучало с той же трибуны от депутатов не из Прибалтики!

Давайте бороться с грубостью и отсутствием культуры! Только не выборочно, как это делает автор письма в редакцию, а без предвзятости, невзирая на лица и на регионы, которые эти лица представляют

## В ЭТОМ ВИЖУ «СВЕРХЗАДАЧУ»

*Уважаемый тов. Брискин!*

*С большим интересом (простите бога ради мне этот стандартный оборот, но никуда не денешься — действительно с большим интересом!) я ознакомился с Вашими «тяжкими раздумьями» («Даугава», 1989, № 10) по поводу моего письма. Практически все ответы на мои достаточно бесхитростные вопросы, заданные «с юношеским максимализмом», меня удовлетворили. Совершенно согласен с Вами, что некорректно в 1989 году упрекать Вас за мысли, высказанные в 1988-м (а в нынешние «вулканические» времена год «идет» за десять!). Мой «юношеский максимализм» можно понять: я — типичное «дитя застоя», в партию вступил в 1984 году (в моем письме была описка, так что я — «коммунист с 1984 г.»), а кандидатом в партию стал, будучи студентом (!) 2-го курса университета. А Вы представляете себе, кем надо было быть, чтобы студентом (да еще в «застойные годы») вступить в партию? Теперь, надеюсь, Вам стало ясно, что я — неофит в деле «борьбы за демократию». А, как известно, неофиты всегда были самыми «правоверными». Отсюда и моя агрессивность. Но оставим в покое мое «темное» прошлое и вернемся к Вашему ответу.*

*Вы считаете доказанным, что «социализм попросту не существует», немного ранее Вы признаетесь, что не знаете, что такое социализм, а затем пытаетесь выяснить «а что это такое мы построили за 70 лет?». Вот тут-то и находится главное (на мой взгляд) логическое противоречие в Ваших рассуждениях. Задумайтесь: допустимо ли отрицать существование некоего явления, не зная, что это явление собой представляет? То есть я хочу сказать, что и моя точка зрения (социализм существует, и имеет место его общий кризис) и Ваша — бездоказательны и, следовательно, имеют равные права на существование.*

*Предположим теперь, что ученые мужи выяснили-таки, что такое социализм (или, по крайней мере, дали четкое определение этого понятия). Спор наш, разумеется, будет немедленно разрешен в таком случае. (Лично я бы хотел, чтобы правы оказались Вы!). А дальше что? Начать немедленно строить вышеупомянутый социализм? (Разумеется, теоретически обоснованный социализм будет привлекателен для человечества — иначе не стоило бы и «огород городить»!) А вдруг окажется, что социализм — это, например, т. н. «шведская модель»? Согласитесь, что она достаточно привлекательна. Но парадокс заключается в том, что Швеция социализм не строила, да и коммунизм, очевидно, строить не собирается! А уровень жизни (читай — благосостояние народа) в этой «пресло-*

вудтой» Швеции, да и во многих других так называемых «западных» странах неуклонно повышается. А у нас? Молчу, молчу . . .

Так, может быть, все-таки давайте, наконец, перестанем «строить» светлое будущее, от коего благодаря нашему «строительству» мы все «дальше . . . дальше . . . дальше!» (цитируя известную пьесу) . . . Давайте начнем подчиняться нормальным, естественным (а не директивным!) экономическим законам, что с немалым успехом и уже давно делают развитые страны. Представьте себе дерево, которому приказывают «вырасти» в день на столько-то сантиметров, а для подкрепления «указаний» тянут его за крону щипцами. Представили? А наша страна очень напоминает мне это несчастное дерево . . .

После моих утомительно-радикальных рассуждений, которые я здесь привел, у Вас вполне справедливо может возникнуть вопрос: почему тов. Чубыкало («коммунист с 1984 г.») до сих пор не вышел из партии? Ответы:

Мы, коммунисты, всю эту 70-летнюю кашу заварили — нам ее и расхлебывать. Иначе это просто не по-джентльменски. В этом я и вижу «сверхзадачу» коммунистов и коммунистического правительства: обеспечить максимально безболезненный переход от тоталитаризма к демократии! В этом и только в этом случае ни у кого не поднимется рука бросить нам в спину камень . . .

С уважением  
ЧУБЫКАЛО А. Е.  
сотрудник физического факультета  
Харьковского госуниверситета  
(коммунист с 1984 года).

---

Авторы снимков в тексте: Харрис Бурмейстарс, Атис Иевиньш, Марк Рабкин

---

Технический редактор  
Мудите АРАЯ.

Сдано в набор 30.01.90.  
Подписано к печати 27.02.90. ЯТ 00110.  
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,  
мелованная бумага. Офсетная печать.  
Обложка и вклейки — высокая печать.  
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,75 усл. кр.-отт.,  
10,88 уч.-изд. л. Тираж 98 000.  
Заказ № 195. Цена 45 коп.  
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,  
Баласта дамбис, 3.  
Телефоны: гл. редактора 466049,  
зам гл. редактора 465913,  
отв. секретарь 465996,  
отд. прозы и критики 465992,  
отд. поэзии 465998,  
отд. публицистики 465990,  
техн. секретарь 465993.

Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,  
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

В РИЖКОМ АВТОМУЗЕЕ

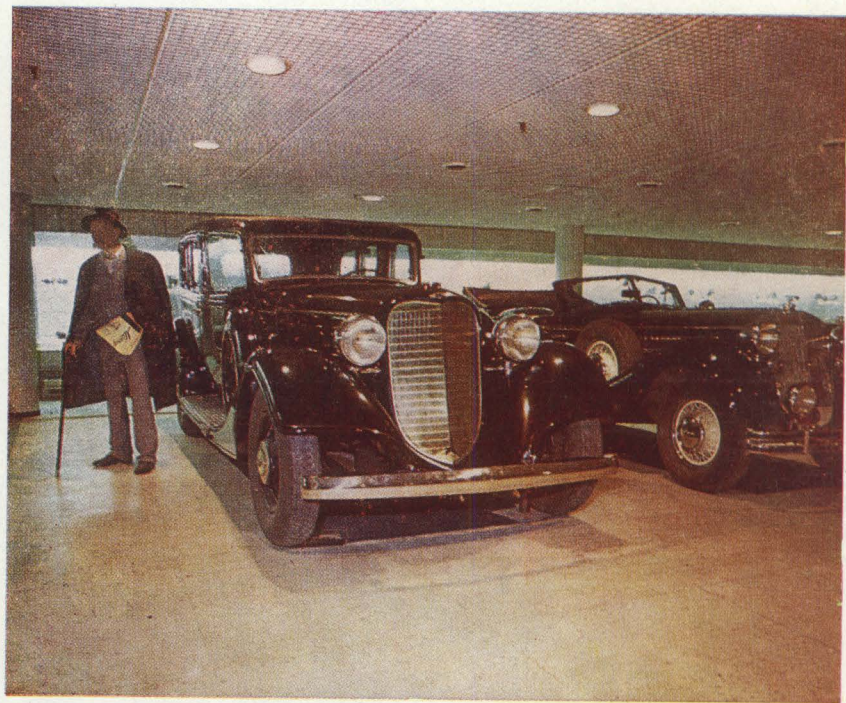


Автомобиль ЗИЛ-115С,  
машина-крепость  
«отца народов»





**«Серебряная тень»  
Леонида Брежнева**



Машина  
Максима Горького  
«Линкольн KB У-12»

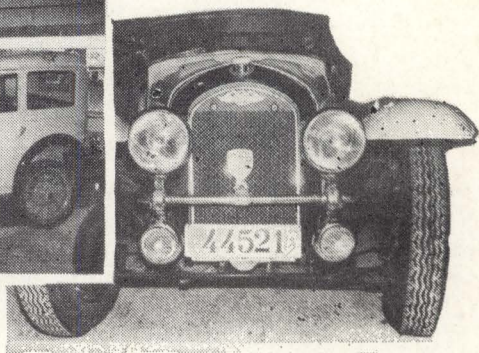
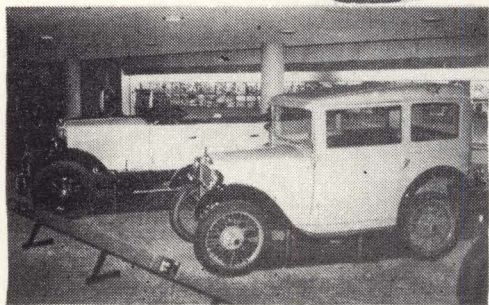
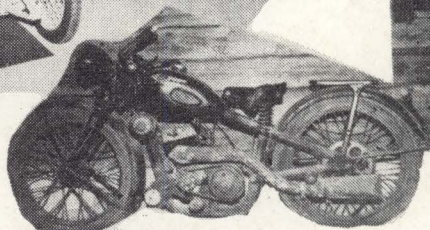
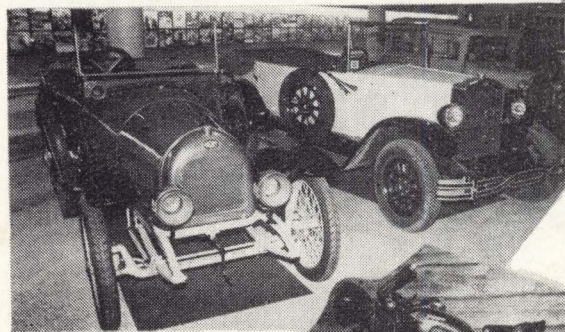
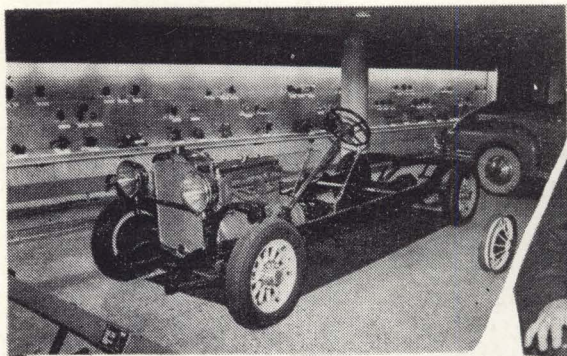




**Ретро  
и современность.  
Фото  
Атиса Иевиньша**







В залах  
Рижского автомузея.  
Фото  
Атиса Иевиньша



